Виталий Пашин

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ



Виталий Пашин

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ



РАССКАЗЫ

Ярославль
Верхне-Волжское
книжное издательство
1987

Рецензент В. А. ЗАМЫСЛОВ, член СП СССР

Пашин В. В.

П58 Прощание славянки: Рассказы. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1987. — 96 с.

15 коп.: 100 000 экз.

В сборник рассказов костромского писателя Виталия Пашина вошли два цикла — «Венок моего детства» и «Рассказы о Блюхере». Первый цикл состоит из автобиографических рассказов, в которых отражены факты не столько личного, сколько общественного значения — идет ли речь о восприятии мальчишкой старинного военного марша или о замеченной школьником «ошибке» в надписи на памятнике Пушкину. Рассказы другого цикла знакомят юного читателя с эпизодами из жизни героя гражданской войны В. К. Блюхера. В их основе — воспоминания сослуживцев маршала, с которыми в разные годы встречался автор. Книга рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста.

П $\frac{4702010200-38}{М139-(03)-87}$ 46—87 Р2



ВЕНОК МОЕГО ДЕТСТВА

От автора

Наверное, так уж устроен человек, что после пятидесяти лет жизни все чаще и чаще обращается памятью к своему детству. И что удивительно, казалось бы, напрочь забытые страницы прошлого вдруг начинают так явственно вырисовываться в его воображении во всех красках, со всеми поднявшимися со дна памяти подробностями и связанными с ними переживаниями.

И поводы к таким экскурсам, порой, бывают самые неожиданные. Снимаю как-то трубку телефона и вместо длинного гудка слышу в наушнике какой-то треск, шорох, царапанье. Будто забрался туда майский жук... Бывало, в детстве посадишь жука в спичечный коробок и пристаешь ко всем: послушай телефон.

И вот уже в памяти возникают знакомые лица, живые картины, всего тебя охватывает сладостная истома...

МАЙСКИЕ ЖУКИ

Под окнами нашего дома в Тушино росла большущая береза. Весной, к великой радости дворовой детворы, появлялись на ней невероятные скопища майских жуков. С наступлением сумерек устраивали мы на них охоту: метали в летающих хрущей свои кепки. При удачном попадании жук почему-то застревал в подкладке. И это нас очень забавляло. Сунешь руку в кепку, а он тут как тут. Скребет ножонками, барахтается... Потеха!

Однажды после удачного отлова мы с Витькой Таранковым притащили в школу две пригоршни таких жуков. И выпустили их в полет на уроке русского языка. Помню, как заверещала наша молоденькая учительница Анна Владимировна, когда на ее модную прическу приземлилось это грузное неуклюжее насекомое. Как потом изгнанные с урока пошли мы на берег канала «Москва-Волга» и встретили там человека, который оказался...

Нет, не скажу кем, а то неинтересно будет читать дальше.

В общем, пошли мы бесцельно бродить по каналу. Настроение скверное: о сегодняшней проделке запишут, конечно, в дневник и по поведению за неделю нам вкатят по двойке... Витьке не попадет: у него отца нет, мать в больнице лежит, а неграмотная бабка царапнет крестик в дневнике, где полагается расписаться родителям, и дело с концом. А мне не избежать порки.

— Пойдем к «булыге», — предложил Витька.

— Пойдем, — согласился я.

Мне все равно, куда идти, лишь бы не стоять на месте. Во время ходьбы вроде легче становится на душе, обремененной предвкушением свидания с отцовским ремнем.

«Булыгой» мы называли плоский белый камень довольно внушительных размеров. Летом он служил нам ориентиром во время купания. Возле него мы обычно складывали свою одежонку и, переплыв на другой берег канала, могли быстро отыскать глазами место, куда следует держать курс по возвращении.

Берега канала в мае еще пустынны и тихи. Купаться холодно, сидеть просто так на выложенной каменьями набережной тоже невелико удовольствие — геморрой наживешь, говорили взрослые. И потому мы были крайне удивлены, когда увидели восседавшего на «булыге» незнакомого человека. Воротник его осеннего пальто



был поднят, на лоб надвинута фуражка, во рту он держал курительную трубку... В нашей округе таких пижонов не водилось.

Не замечая нас, человек что-то записывал в маленький блокнот, лежавший у него на колене. Временами он останавливался, бросал быстрый взгляд то на шлюз, то на противоположный берег, и принимался писать снова. Потом вдруг откладывал блокнот, доставал из кармана спички и раскуривал трубку. Выпустив одно за другим несколько колец дыма, вновь хватался за блокнот. Движения его были резкие, какие-то лихорадочные...

Совсем недавно я прочитал новую книгу Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» и, само собой разумеется, очень мечтал изловить какого-нибудь шпиона. А что перед нами шпион, в этом не было сомнения. В кино мы не раз видели таких типов в шляпах, черных очках и с поднятыми воротниками. У этого шляпы и очков не было, зато имелась трубка, очень похожая на ту, которую держал в зубах пузатый капиталист с известного плаката.

— Витька, — спросил я срывающимся от волнения голосом, — знаешь, кто это?

— Знаю, — тихо ответил Витька, — агент.

Я кивнул головой и скомандовал:

— Беги в милицию, а я останусь следить.

Обычно Витька с первого раза никогда не исполнял моих приказаний, а вечно начинал прекословить. Сейчас же было не до амбиций. Шепнув мне в ухо: «Смотри не упусти», Таранков круто повернулся и пошел прочь. Сначала медленно, вразвалочку, но отойдя на приличное расстояние, припустился бежать.

Я залег в кювете метрах в тридцати от берега и, посыпав для маскировки голову сорванной травой, принялся вести наблюдение и одновременно мысленно проигрывать различные варианты своих действий на случай, если человек попытается улизнуть. Стрелять он, конечно, не будет: не в его интересах поднимать шум. А вдруг да заметит меня? Подойдет, будто ни в чем не бывало, ласково потреплет по голове и, убедившись, что поблизости никого нет, придушит, как котенка. Да, невеселая перспектива. Надо было мне самому бежать в милицию. Этот увалень Таранков теперь до завтра не вернется. Ему-то ничего не грозит — гуляй себе...

Впрочем, я вскоре перестал беспокоиться за свою молодую жизнь. Видать, шпион этот был большая растяпа: он ни разу не оглянулся, чтобы убедиться в отсутст-

вии слежки, а все писал и писал. А может вычерчивал план шлюза? Крестиками отмечал места расстановки часовых, пунктиром — пути подноса динамита. Многое я дал бы за то, чтобы хоть краем глаза заглянуть в его блокнот.

Ну, а что ждет меня за поимку агента иностранной разведки? Конечно, не к лицу пионеру думать о таких вещах, все-таки не за награду стараюсь. И тем не менее было бы очень недурно, если бы директор школы распорядился не писать в наши дневники про жуков и не ставить нам двойку по поведению. Уж мне-то во всяком случае: я же, можно сказать, жизнью рискую.

Наконец показался Витька в сопровождении двух милиционеров. Я было хотел броситься им навстречу, да вспомнил, что нахожусь в секрете и не имею права покидать свой пост.

Поравнявшись со мной, Витька спрыгнул в кювет и зашептал мне на ухо: «Пригнись и не высовывайся». Еще чего не хватало! Теперь-то нас четверо, уж как-нибудь справимся. Один из милиционеров остался стоять возле нас, другой подошел к человеку с трубкой. Тот перестал писать, поднял голову и удивленно уставился на милиционера.

Разговор, который состоялся между ними, до нашего слуха не долетел. Мы только видели, как мужчина вынул из бокового кармана небольшую красную книжечку и протянул милиционеру. Потом оба рассмеялись, шпион повернул лицо в нашу сторону и весело крикнул:

— А ну, идите сюда, герои!

Мы с Витькой переглянулись, но с места не двинулись.

— Идите, идите, — махнул рукой милиционер. — Чего испугались-то? Это писатель товарищ Гайдар. Хочет с вами побеседовать.

Вот это да!..

Красные от смущения, не смея поднять глаза, подошли мы к Аркадию Петровичу.

— Это кто же заподозрил во мне шпиона? — спросил Гайдар с напускной суровостью.

— Он, — быстро ответил Витька, показав на меня пальцем.

Я покраснел еще больше и пролепетал в свое оправдание:

— Вы же спиной к нам сидели, и воротник был поднят...

— А так бы мы вас сразу узнали, — подхватил осмелевший Витька, — в книжке вы очень похожи.

Гайдар обнял нас обоих вместе и говорит:

— Да, правильно, правильно, вы действовали умело и бесстрашно.

А потом повернулся ко мне и спрашивает:

— Ну, а если бы я заметил тебя, подошел и спросил, что ты делаешь в этой канаве?

Я моментально засучил штанину и показал прорвавшийся фурункул под коленкой.

— Ну, молодчина! — расхохотался Аркадий Петрович. — Только вот одно плохо: с чирием и на холодной земле сидел. Это тебе, брат, даром не пройдет.

— Пройдет, — весело ответил я и с гордостью добавил, — у меня они каждую весну бывают и ничего, проходят.

— Ну, тогда держи пять.

И Гайдар протянул мне широкую теплую ладонь.

ПИЩАЛЬ МАЛЮТЫ

Когда мне было года четыре, жил я с родителями в маленьком городишке Емецке на берегу Северной Двины. Мы снимали комнату в доме торговца рыбой. А у него на кухне по вечерам вечно толкались какие-то крайне несимпатичные бородатые люди. От их огромных сапог несло густым запахом рыбьего жира, противнее которого для меня в ту пору не было ничего на свете. Мужики подолгу пили чай, шепотом вели разговоры о каких-то лодках, сетях, бочках и самыми последними словами костерили емецкую милицию.

Спрятавшись на широкой печи, я частенько слушал их беседы и постепенно под влиянием этих разговоров проникся к милиции каким-то очень сложным чувством. С одной стороны, она нравилась мне, поскольку не нравилась бородачам. С другой стороны, уж ежели такие страхолюдины ее боялись, то меня и подавно бросало в дрожь, когда я на улице неожиданно встречался с человеком в милицейской форме.

А бабушка моя использовала мою слабость в своих интересах. Не ложусь я спать вовремя — она меня милиционером стращает, отказываюсь от манной каши — в милицию грозится заявить. Короче говоря, стал для меня милиционер самой страшной фигурой, вроде бабы-



[illegible] фуражке с кокардой и с «ливером» на [illegible] «ливером» моя бабка для краткости называла револьвер.

И вот однажды, когда я наотрез отказался от кружки парного молока, и бабка уже надела платок, чтобы пойти за милиционером, в дверь нашей комнаты раздался стук и вошел... милиционер. Не буду уточнять, кто из нас больше перепугался, я или бабка. Помню только, что она сначала себя перекрестила, потом меня, потом вошедшего милиционера. А он широко улыбнулся и сказал:

— Давайте знакомиться, я ваш новый сосед — Василий Федорович.

И был он совсем не страшный, а, наоборот, такой простой, веселый, славный дядя. Он не только не посадил меня в каталажку, как пророчила бабушка, но даже одобрил мои действия, узнав, что я отказался от парного молока.

— Я, — говорит, — тоже не терпел в детстве этой гадости. И вообще, нельзя перекармливать детей: этим вы, — говорит, — никаких положительных эмоций в ребенке не вызовете, окромя расстройства желудка.

Почувствовав поддержку такой важной персоны, я до того расхрабрился, что попросил дядю Васю посадить в каталажку бабушку. Правда, за такую опрометчивость я получил строгий выговор от милиционера, но это не помешало нам впоследствии стать друзьями.

Дядя Вася был самым храбрым человеком из всех, кого я знал. Он ни чуточки не боялся громадного черного пса Буяна, перед которым трепетала вся округа. Его не пугали ночные посвисты ветра в трубе нашей кухонной печи. Ему даже не страшно было вечером слазать на чердак, где, по убеждению бабушки, квартировала нечистая сила...

В храбрости дяди Васи убедил меня окончательно вот еще какой случай. Отец мой, работавший бухгалтером в леспромхозе, купил у кого-то из окрестных охотников ружье. Купил, польстившись на исключительную его дешевизну. Сам он никогда в жизни не охотился и даже не держал в руках огнестрельного оружия. Так что всучить такому покупателю никчемную вещь было делом нехитрым.

Принес отец ружье домой — довольнехонек. Говорит бабке:

— Теперь, мамаша, с зайчатиной будем каждую неделю.

Стали мы вместе рассматривать покупку. Бабушка сразу что-то неладное заподозрила:

— Уж больно оно какое-то длинное да тяжелое... Да проржавевшее все насквозь.

— Что же вы хотели, чтобы я за червонец новехонькую двухстволку принес? Естественно, вещь подержанная, побывавшая, как говорится, в деле...

— А куда патроны закладывать? — поинтересовался я.

— Патроны-то? — переспросил отец и почесал за ухом.

— Ну так я и знала, — всплеснула руками бабка, — обманули!

— Погодите, мамаша, каркать: сейчас все выясним, куда патроны, куда порох...

Отец тщательно обследовал приклад, заглянул в дуло, пощелкал курком... Ничего не прояснилось.

— Так... — протянул отец и послал меня за дядей Васей.

Дядя Вася вошел розовощекий, улыбающийся.

— Ну-ка похвастайте покупкой, — крикнул он с порога.

— Да вот, понимаете, не разберусь где что... — отец виновато протянул ружье милиционеру.

— Ого! Вот те штука на тридцать фунтов, — выкатил глаза дядя Вася. — Это что же такое получается? Мушкет или того хлеще — пищаль Малюты Скуратова.

— Тоже скажете, — обиделся отец. — Я за нее червонец отдал.

— Всего ничего, — ехидно вставила бабка.

Отец пропустил мимо ушей реплику тещи и продолжал, обращаясь к милиционеру.

— Вы мне, пожалуйста, объясните популярно, как патроны в нее закладывать.

Дядя Вася хохотнул:

— Какие патроны? Она же с дула заряжается при помощи шомпола. Значит, засыпаешь туда порцию пороха, забиваешь пыж, а сверху — пулю... Потом вот в эту дыру вставляешь капсюль, отводишь курок — и жми на спуск.

Для отца это была грамота за семью печатями. Видя, что теоретические рассуждения не доходят до сознания соседа, дядя Вася предложил опробовать ружье в деле. Мигом слетал в свою комнату, принес капсюли и банку с порохом, вырезал из голенища валенка пыж, из удилища соорудил шомпол...

Пока отец искал какую-нибудь штуковину под диаметр ствола, чтобы использовать ее вместо пули, наш

[illegible] оружье. И [illegible] не потреб[illegible] [illegible] с таким усердием трамбовал [illegible] [illegible] что [illegible] засадил в ствол шомпол. [illegible] вытащить его клещами, но шомпол, [illegible]мился у самой кромки дула.

— И прекрасно, — воскликнул ничуть не обескура[illegible] дядя Вася. — Вот он и будет у нас заместо пули. По крайней мере, проследим траекторию полета.

Отец молча кивнул головой и после минутного раздумья попросил:

— Только уж вы, Василий Федорович, пожалуйста, того... сами пальните.

— Какой может быть разговор, — с готовностью откликнулся сосед. — Для меня это дело привычное... Пойдемте в огород!

Я рванулся к двери первым, но бабка проворно схватила меня за рубаху.

— Не пущу, смотри с крыльца. Не хватало нам забот так купили проклятое ружьище.

Отец промолчал, а дядя Вася назидательно заметил:

— Это вы совершенно напрасно такие страхи на будущего героя-красноармейца наводите. Никакой опасности для него и всех прочих тут быть не может. Обратите внимание на казенную часть данного оружия — стенка в палец толщиной, нечто ее разорвет!

— Знаем мы эти казенные части, — отмахнулась бабушка. — Только ребенок у нас не казенный, а свой... Сами стреляйте сколько влезет, а его не замайте.

Дядя Вася спрыгнул с крыльца и бегом направился к бане, стоявшей на другом конце огорода. Отец не торопился следовать за ним. Поскольку на дворе было холодно, время на раздумья дядя Вася сократил до предела. Приблизившись к бане, он на ходу вскинул к плечу приклад и поднял ствол к верху. Я только и увидел, как в полнеба полыхнул сноп пламени. Гром выстрела потряс воздух, где-то звякнуло вылетевшее из рамы стекло, над огородом повисло облако черного дыма.

Ошалевший от восторга, я выдернул свою рубашку из цепких пальцев бабки и прыснул через грядки к дяде Васе. Не успел я добежать до него, как с шумом распахнулась дверца баньки и через узкий проем, давя друг друга, наружу выбрались трое бородачей, тех самых, которые раньше по вечерам навещали нашего хозяина. Они плюхнулись перед нами на колени и завопили:

— Не губи, ради бога: все скажем — где сети прячем, кому семгу сбываем...

Дядя Вася в крайней растерянности отпрянул было назад, но тотчас овладел собой и сказал твердым голосом:

— Вот так-то лучше, господа браконьеры. Будем считать это добровольной явкой с повинной. Айда в дом писать протокол.

...За поимку шайки браконьеров дядю Васю премировали конфискованной у бородачей двухстволкой. Он принес ее в нашу комнату, повесил на гвоздь возле двери и коротко заявил:

— Это вам!

Отец замахал руками, но дядя Вася остановил его повелительным жестом и продолжил:

— Ежели по справедливости, меня бы в шею надо выгнать из милиции за то, что под одной крышей со мной творили черные дела ворюги и браконьеры. Но по недоразумению и в первую очередь благодаря вашему историческому ружью я оказался героем, каковым и впредь постараюсь быть на деле. Поскольку же шомпол у вашего ружья так и остался в стволе, а казенник, извините, разорвало начисто, считаю своей обязанностью компенсировать ваши убытки своей премией. И убедительно прошу не отказать мне в этом благородном поступке.

Вот какой был человек емецкий милиционер Василий Федорович. Фамилии его я не знаю. И отец забыл. Бабушка бы непременно вспомнила, да только она давно померла...

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Не знаю, когда и откуда появился в нашем доме граммофон — внушительных размеров ящик с приставленной к нему широченной коричневой трубой. И три односторонние пластинки: «Шумел, горел пожар Московский», баллада Томского из «Пиковой дамы» и марш, название которого было нам неизвестно по причине отсутствия фирменной наклейки на пластинке.

Машина мне сразу пришлась по душе. Научиться заводить ее и ставить мембрану на краешек вращающегося диска было делом нехитрым. Тем более никто мне в этом не препятствовал, ибо взрослые как-то сразу по-

[illegible] к допотопному аппарату всякий интерес и от[illegible] [illegible] в мое полное распоряжение.

У меня же граммофон не знал простоя. И хотя пластинки были вконец замызганы и изрыты оспинами, слушать их далекий замогильный голос доставляло мне истинное удовольствие. Разобрать слова было, конечно, невозможно. Когда я, например, заводил «Шумел горел пожар Московский», из раструба хриплый тенор верещал: «Уе, ое, оа, ососки». Так бабушка и прозвала эту пластинку «оськой».

Но для меня прелесть гениального изобретения Эдисона состояла совсем в другом. Третья пластинка — с маршем — на мое великое счастье была испорчена меньше других. Ее-то я и накручивал день-деньской. Сквозь шипение и треск спотыкавшейся на ухабах иголки мое ухо улавливало картавые голоса труб духового оркестра и глухое уханье барабана. Эти звуки в моем воображении выстраивались в четкий гармонический ряд, создавая мелодию, до боли знакомую и страсть как волнующую мою детскую душонку.

Первый раз я услышал этот марш, когда провожали в Красную Армию дядю Костю, отцова брата. За двенадцать верст приехали мы тогда в город на железнодорожный вокзал. Отец посадил меня на высокий подоконник в зале, наказал сидеть смирно, а сам куда-то исчез с дядей Костей. С высоты оконного проема во все глаза смотрел я на живописную вокзальную толчею, выискивая в массе снующих людей стройные фигуры командиров в шишкастых краснозвездных буденовках. Поносить такой шлем была заветная мечта любого мальчишки, и я уже предвкушал это счастье: ведь дядя Костя пообещал, что, когда вернется со службы, непременно подарит буденовку мне.

Вдруг совсем рядом за окном во всю мощь грянул духовой оркестр. Это было что-то бесподобное, ни с чем несравнимое. Никогда раньше не слышал я такой громкой и красивой музыки. Сквозь закопченные стекла окна мне было не видно оркестрантов, только солнечные блики, отбрасываемые их трубами, рябили в глазах.

При первых звуках оркестра народ хлынул из зала на перрон. А я — какая жалость! — без посторонней помощи не мог слезть с высокого подоконника. Отец пришел за мной, когда оркестр уже перестал играть. Мы [illegible]скочили на перрон, но увы, красноармейцы, спрятав

инструменты в чехлы, со смехом друг у друга отрыли вали от воротников шинелей листочки нот...

И вот теперь по счастливой случайности я стал хозяином того самого марша. Стоило мне захотеть, и оркестр исполнял его хоть пять, — да что там пять! — хоть сто раз подряд. Правда, это было всего-навсего жалкое подобие некогда околдовавшей меня мелодии. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать во мне священный трепет и какой-то необыкновенный подъем душевных и физических сил. Марш таил в себе волшебное свойство — это я понял сразу. Он был сродни той самой живой воде, один глоток которой мог оживить мертвеца, в слабого вдохнуть богатырскую силу, труса сделать храбрецом.

И это отнюдь не было плодом моего воображения, а подтверждалось повседневной практикой. Наслушавшись музыки, я становился одухотворенным и смелым. Мог запросто влезть на островерхую крышу сарая и усесться верхом на конек. Или голой рукой сорвать стебель крапивы и провести им по щеке. Увидев соседскую гусыню, я не улепетывал от нее, как прежде, я брал в руки хворостину и, стиснув зубы, решительно шел на сближение.

О всемогущество военного марша! Он делал со мной то, что не под силу было никому и ничему другому!

Не могу себе представить, до каких степеней храбрости дошел бы я под влиянием колдовской музыки, если бы не сломалась в граммофоне заводная пружина. Она лопнула без всяких видимых причин. Помню, пустил я диск, поставил на пластинку мембрану и приготовился, как всегда, вязальной спицей легонько отбивать такт по дну медного тазика для варки варенья.

И вдруг... р-р-р... Внутри ящика раздался страшный рокот, содрогнувший, как мне показалось, весь наш дом. Диск замедлил вращение и остановился. По наступившей затем гробовой тишине я понял, что произошло что-то ужасное.

Вечером отец, забравшись в граммофонное нутро, быстро поставил диагноз.

— Да она уже клепана-переклепана, живого места нет, — заявил он, показывая нам куски лопнувшей спирали. — Теперь для этой адской машины осталась одна дорога — на чердак.

И все! Какая скорая и глупая развязка! Я даже не

[illegible] полагая, что слезы — слишком дешевая цена для такой невосполнимой утраты.

Вскоре все в доме (кроме меня, разумеется) забыли про граммофон. А я никак не мог привыкнуть к тишине и к тому, что на тумбочке, вместо коричневого раструба торчит глиняный горшок с вонючей геранью.

Граммофон исчез. Но музыка военного оркестра не покинула меня насовсем. Время от времени по ночам являлась она ко мне желанной гостьей. Во сне я слышал чистые, волнующие звуки марша, немного печальные и тревожные, но неизменно дарующие радость, манящие надеждой.

Шли годы. Я повзрослел. Мы давно покинули Нею и жили в Тушино, под Москвой. Нашей соседкой по коммунальной квартире была Тамара Гасуль — очень славная, веселая девушка. Часто в предвыходные вечера в ее маленькой комнатушке собиралась молодежь. Пили чай, пели песни, поочередно (из-за недостатка места) танцевали под патефон.

Меня, в то время уже ученика пятого класса, допускали на эти вечеринки в качестве «заводилы» (так шутники нарекли лицо, приставленное к патефону заводить пружину и менять пластинки). Мое «рабочее место» было в углу, между громадным платяным шкафом и стеной. Я забирался в этот узкий проем, меня задвигали тумбочкой и ставили на нее патефон. На подоконник наваливали груду принесенных гостями пластинок с таким расчетом, чтобы я мог доставать их.

Право выбора очередного танца предоставлялось мне, и потому я себя чувствовал в этой компании взрослых весьма значительной фигурой. Мне было чертовски лестно, когда какая-нибудь симпатичная девица просовывала в мой закуток голову и томно просила:

— Вальс, пожалуйста.

Или разбитной парнище весело подмигивал мне и панибратски требовал:

— Крутани-ка, браток, «Кукарачу».

И вот однажды из груды фоксов, румб и блюзов я извлек не попадавшуюся мне ранее на глаза пластинку с ярко-оранжевой наклейкой Апрелевского завода. «Прощание славянки», — прочитал я. Марш... И хоть у меня имелось четкое указание танцующей публики: польки, кадрили, венгерки и прочие вышедшие из моды танцевальные мелодии не заводить под страхом лишения должности, я все же рискнул поставить на диск загадоч-

[illegible] пластинку. Не из озорства, не из любопытства, [illegible] какое-то подсознательное чувство толкнуло меня на [illegible] поступок. И при первых тактах музыки я так и обмер от неожиданности: это был тот самый марш. Непостижимо!

У меня не хватает слов, чтобы описать вихрь чувств, который моментально захлестнул мою душу. Я сидел в своем закутке, отрешенный от всего земного, зачарованный колдовскими звуками. Кроме них, для меня в те мгновения не существовало ничего. И уж, конечно, никак не реагировал я на требования нетерпеливых танцоров сменить пластинку. Пришел в себя только в тот момент, когда чья-то рука, грубо чиркнув иглой по пластинке, сбросила с диска мембрану.

— Чего ты завел, чучело? — пробасил Борис Дубровин — Тамарин ухажор, очень ненавистный мне тип. — Не слышишь, танго просят народы. Ищи «Брызги шампанского».

— Ищите сами, — огрызнулся я и удивился своей храбрости.

— Ух ты, сморчок...

Между шкафом и откинутой крышкой патефона просунулась здоровенная ручища и звучный, ядреный щелчок обрушился на мою стриженую голову. Не отдавая отчета в своих действиях, я всем телом навалился на тумбочку, загораживающую выход из моего тупичка, повергнув ее на пол и бросился вон из Тамариной комнаты.

Домой не пошел: не хотел, чтобы кто-нибудь видел мои слезы. А как был в одной рубашонке и коротких штанишках, ринулся на улицу в промозглую темень октябрьского вечера.

Мелкий холодный дождь быстро остудил мою голову, и я, проанализировав все детали происшедшего, ужаснулся той тяжести преступления, которое совершил четверть часа назад: ведь вместе с тумбочкой свалился на пол и патефон. И пластинка с оранжевой наклейкой.

И все это наделал марш. А кто же еще? Если бы не он, посмел бы я дерзить старшему? Никогда. Возмутил бы меня щелчок Дубровина? Конечно, нет (мало я их получал от старших ребят во дворе). А музыка марша выбила меня из равновесия, взвинтила гордость, сделала решительным и безрассудным...

Дрожа от холода и нервного озноба, я долго бродил по берегу Москва-реки и думал, что если бы я сейчас утопился, то не только бы избежал кары за свое ужасное деяние, но даже вызвал бы сочувствие всех

знакомых и незнакомых людей. А этот негодяй Дубровин всю жизнь бы мучился тем, что на его совести лежит загубленная молодая жизнь...

Ночью отец нашел меня в дровянике и, приведя домой, выпорол на общей кухне. Экзекуцию я принял, как вполне заслуженное возмездие. И, скажу по совести, был даже рад, ибо порка в какой-то мере облегчила мои душевные страдания.

И уж совсем воспрянул я духом, когда утром узнал от Тамары, что патефон не пострадал благодаря Борису, который сумел как-то очень ловко подхватить его на лету.

— А пластинка? — с надеждой спросил я.

— Люда оставила ее, можешь взять на память, — сказала соседка и вынесла мне из своей комнаты две половинки злосчастного диска.

Я берег их долго. Не раз пытался склеить, но безрезультатно. Отчаявшись, отложил до лучших времен и все ждал, когда ученые изобретут клей для возвращения к жизни разбитых граммофонных пластинок.

Не дождался — началась война.

* * *

7 ноября 1941 года вся наша семья, затаив дыхание, прильнула к репродуктору. Шла передача из Москвы о традиционном военном параде. С Красной площади ударные батальоны маршировали прямиком на передовую.

— Что-то будет... Что-то будет... — причитала бабушка, прикладывая кончик накинутой на плечи шали к слезящимся глазам.

А я нисколько не сомневался, что будет победа: ведь шли-то войска под звуки моего любимого, могучего, волшебного марша...

УРОК

Больничный сад был совершенно запущенный и, по нашим мальчишеским понятиям, невероятно большой. Одичавший малинник вперемежку с кустами волчьих ягод и бузины создавал такой хаос в его некогда строгой планировке, что лучшего места для игры в казаки-разбойники и придумать было невозможно.

Редкими свечками торчали из кустарниковых зарос-



...ей стволы молодых осинок и берез — превосходные наблюдательные пункты. Сучки на деревьях шли от самых комлей, так что залезть на вершину для пацана было минутным делом. Бывало, заберешься повыше, где ствол как раз в обхват ладони, вцепишься в него покрепче и давай раскачиваться. Деревцо податливое, пружинящее, рассекая листьями воздух, ходит взад-вперед, а то — по кругу, и виражируешь ты над землей — дух захватывает от удовольствия!

Со временем мы с Адиком Будиным и игру увлекательную придумали — «воздушный бой». Забирались на верхушки соседних деревьев, привязывали себя ремнями к стволам и, раскачиваясь, обстреливали друг друга бузиной из «духовых ружей» — длинных дюралевых трубок.

Как мы ни скрывали от старших ребят свою игровую зону, выследил-таки нас Фимка Ерохин. И, конечно, вклинился в игру, разрушив всю ее прелесть.

— Вы там наверху сражайтесь, а я вас снизу из зенитки буду глушить.

И давай пулять в нас комьями земли. Какая уж тут игра! Слезли мы вниз, отряхиваемся. А Фимка выбрал осину повыше, залез и ну раскачивать деревцо со всей своей дурацкой удалью. Не выдержала тщедушная вершинка Фимкиного веса, обломилась и вместе с Ерохой рухнула наземь.

— Ах, мерзавцы! — услышали мы голос вынырнувшего из зарослей бузины человека.

Это был главврач больницы Сергей Сергеевич Шарин, известный всему городу хирург. Он схватил за шиворот поднявшегося с земли Фимку и, убедившись, что тот цел и невредим, принялся стыдить парня:

— Ну это ли не балбес! Как еще головы не свернул... Посмотри на себя — жених! Какой ты пример младшим подаешь?.. Вот как штрафану твоего отца за сломанное дерево...

— А у меня нет отца, — с гордостью заявил Ероха.

— Оно и видно, — буркнул главврач и скомандовал нам, — моментально вон из сада, и чтобы больше сюда ни ногой!

Два дня мы крепились. На третий пошли на разведку. В саду возле ограды сидел на кочке и курил здоровенный рыжий дядька, одетый в выцветшую армейскую гимнастерку с малиновыми петлицами. Увидев нас, он встал, тщательно заплевал недокуренную козью ножку,

вытащил из висевшей на ремне кобуры настоящий наган и пообещал:

— Будете лазить через забор, кому-то просолю зад.

По серьезному выражению лица говорившего мы поняли: дядька не шутит. Как ни жалко было нам расставаться с полюбившейся игрой, пришлось временно оставить больничный сад в покое.

— Ну что, испугались нагана незаряженного, — подтрунивал Фимка.

— А сам-то?

— Что сам? — храбрился Ероха. — Хотите, сейчас пойду в сад?

— А ты через забор попробуй.

— И через забор не струхну. Об чем спорим?

Спорить с Фимкой никто, разумеется, не стал, и он полез в сад «за так». И на ближайшую к забору березу забрался. И кулаком в сторону больницы погрозил. А мы стояли гурьбой по другую сторону забора и с тайной надеждой ждали, что сейчас из кустов громыхнет выстрел, и наш герой окажется с простреленными штанами.

Очень нам этого хотелось, потому что Фимка был самым изощренным нашим обидчиком. Силой он превосходил всех нас вместе взятых и пользовался этим преимуществом на каждом шагу безо всякого повода и смысла. Бывало, даст по затылку и спрашивает:

— Угадай, за что? Не угадаешь, еще получишь.

И так раз до пяти. Ну, а уж если действительно чем-то не потрафишь Ерохе, тогда беда. С парнями своего возраста Фимка не водился, поскольку они не принимали его в свой круг, считая беспросветным дураком. Вот он и измывался над нами — десяти-одиннадцатилетними пацанами, вымещая затаенную обиду изгоя.

Между тем, Фимка слез с дерева, картинно растянулся на траве, выражая этим полнейшую безмятежность и презрение к возможной опасности. Мы выждали еще несколько минут, перемахнули ограду и осторожно подошли к Фимке. Вдруг он вскочил с земли, схватил меня и Адика Будина за шиворот и заорал благим матом:

— Дядька, дядька, иди сюда: фулюганов поймал!

Остальные в панике бросились к забору. Довольный произведенным эффектом, Фимка расхохотался:

— Испугались? Лопушня! Неужто не соображаете, что Шарин на два дня зазвал того мужика с наганом, чтобы вас попугать.

Похоже, что Ероха был прав. Во всяком случае, на наши последующие визиты в больничный сад ни Шарин, ни кто другой больше не обращали внимания. Видать, отступились. Тем более, на деревья мы не лазили, сломя голову не носились по кустам: побаивались все-таки.

Но время шло, мы становились все бойчее и бойчее. И, окончательно притупив бдительность, вновь возобновили воздушные бои.

И вот однажды, в разгар такого боя со стороны боковой аллеи прогремел выстрел. Словно переспевшие сливы, послетали мы с деревьев и, обгоняя друг друга, ринулись к забору. Хоть и имел он двухметровую высоту, перелезть его не составляло никакого труда, ибо был он не сплошной, а сколоченный из толстых реек в виде решетки. Главное, перебросить ногу через гребень наверху, а там прыгай вниз — густая трава самортизирует.

Прием этот был отработан нами до автоматизма еще со времен, когда в больнице существовало отделение нервнобольных, и в саду нет-нет да и появлялась фигура в полосатой пижаме.

Но огнестрельное оружие — это, конечно, пострашнее психа. Мы с Адиком Будиным и Ерохой перелезали забор последними. Уж не знаю, как меня угораздило зацепиться распахнутой курткой за острый выступ опорного столба и после прыжка повиснуть по другую сторону ограды в метре от земли.

Ероха и те, кто раньше нас перемахнул загородку, без оглядки улепетывали в сторону поселка. У Адика тоже было такое намерение. Но мой отчаянный крик остановил его. Он обернулся и увидел, как я, словно приподнятый за загривок щенок, конвульсивно дрыгаю ногами, стараясь найти опору.

Снять меня со столба раньше, чем подоспеет сторож, ему, конечно, не удастся — это он прекрасно понимал, но и убежать, оставив товарища в подвешенном состоянии, было выше его сил. Адик вернулся к забору и молча подставил свои плечи под мои ноги.

Тут нас обоих и прихватил этот самый рыжий дядька. Одной рукой он ловко сдернул меня со столба, поставил рядом с Адиком и спросил совсем не грозно, а вроде как советуясь:

— Ну что, хлопцы, делать будем? В милицию или до хаты к батькам?

Мы молчали, предоставив сторожу самому избрать меру пресечения.

— А ты почему не утек вместе со всеми? — обратился Рыжий к Адику. — Нагана не испугался?

Не поднимая глаз, тот ответил, кивнув в мою сторону:

— А он-то как же?

Сторож медленно перевел взгляд на меня, долго и пристально смотрел, вроде как прикидывал, стоило ли парню из-за такого растяпы, как я, подвергать себя неприятностям. Потом снова обратился к Адику.

— Это что же, друг твой закадычный?

— В одном классе учимся.

— Ага, — понимающе подмигнул Рыжий, — списывать дает задачки.

— Зачем списывать, я и сам могу решать.

— Ну, значит, в драке помогает?

— Да нет же.

Сторож снова медленно поворачивает ко мне лицо, глаза его смотрят осуждающе.

— Чуешь? — говорит он. — Из-за тебя страдает детина. Не можешь через забор лазить, значит — сиди дома, книжки читай.

— Он может, — вступился за меня Адик. — Он со второго этажа прыгал.

— Смотри-ка, — усмехнулся Рыжий. — Это зачем же?

— Просто так.

— Значит, дурак, если просто так. Без дела-то кому это ухарство нужно? А вот когда действительно потребовалось сноровку проявить, ты и повис на колу. Потому как дюже испугался. Верно? А испугался — значит, пропал. Это уж такая пропорция в жизни.

Сторож долго качал головой, потом неожиданно спросил у Адика:

— Мороженое, небось, уважаешь?

— Чего? — не понял Адик.

— Мороженое, говорю, любишь? На двугривенный, купи и съешь. А ему не давай, — сторож ткнул меня в затылок пальцем. — Не заслужил... И хлопцам, что утекли, скажи: погано они поступили. Что живые деревья ломать, что товарища в беде бросать — последнее дело. Смотри сюда.

Сторож засучил левый рукав гимнастерки и показал нам изувеченное предплечье.

— На Хасане заработал, — объяснил он. — Я пуле-

…чик был — первый номер. А вторым у меня — Костя …слухин, летошнего набора боец. Вот такой шкет, росточком маленько поболе вас… Снаряд возле нашего гнезда разорвался — меня осколком обезручило. А он, сукин сын, выскочил из траншеи и драпать. Спасибо, вернулся с полдороги — очухался. Занял мое место у пулемета и давай их косить, самураев-то. Один отбил атаку целого батальона. Медаль получил… Вот и выходит: каждому страшно бывает. Пересилишь страх — герой, не пересилишь, поддашься панике — амба. И сам погибнешь, и других за собой потянешь туда. Во!

Сторож опустился на мягкую траву, жестом пригласил нас сесть рядом. Вытащил из кармана жестяную коробку от монпансье, в которой оказалась махорка и листочки газетной бумаги.

— Не балуетесь этим делом? — спросил, усмехнувшись. — Ну и правильно делаете.

Цигарку он свернул ловко, сунул в рот, прикурил. После некоторого раздумья заговорил снова, но уж каким-то извиняющимся тоном:

— Я, конечным делом, в тот раз пошутил, насчет соли-то… А попугать вас, неслухов, следовало. Вот я нынче и пальнул в воздух. Так что вы уж, хлопцы, насчет этого… — сторож показал глазами на верхушку опорного столба, — никому не рассказывайте: и вам срамота, и меня, хасанца, обсмеют… Ну как, договорились?

— Договорились, — с радостью ответствовали мы.

— Вот и хорошо. Вот и славно, — облегченно вздохнул сторож и, порывшись в карманах своих необъятных галифе, протянул мне монету. — Купи и себе мороженку, раз ты… со второго этажа прыгал.

* * *

Об этом эпизоде из далекого детства вспомнилось вот почему. Недавно, просматривая в библиотеке подшивку газет военных лет, я наткнулся на маленькую заметку «Подвиг бойца». В ней рассказывалось о младшем сержанте Будине. Посланный с напарником в разведку, он вернулся с плененным немцем и притащил на себе раненого товарища. Я сразу подумал: это об Адике. И фамилия, и характер — его! Но посмотрел на дату выхода газеты — 19 февраля 1945 года — и понял, что ошибся: Адик Будин погиб в начале сорок четвертого.

…А может, с похоронкой что-то напутали. Бывали же такие случаи.

ПАМЯТНИК

Помню, как я, ученик четвертого класса, уже знавший наизусть немало стихов Пушкина, в том числе и его знаменитый «Я памятник себе воздвиг...», очень удивился, прочитав на постаменте опекушинского монумента поэту такие слова:

> ...И долго буду тем народу я любезен,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал...

«Как же так, — недоумевал я, — в хрестоматии написано по-другому: «И долго буду тем любезен я народу». Почему же на памятнике переставлены слова?.. И вообще, как может рифмоваться слово «любезен» с концом третьей строчки «что в мой жестокий век восславил я свободу»?

Правда, на памятнике этой строки не было: видимо, не уместилась. Но ведь в стихотворении-то она есть!

Своими мыслями я робко поделился с оказавшимся возле меня мужчиной весьма интеллигентного вида и тоже рассматривавшим монумент. Он хмыкнул, криво улыбнулся и процедил:

— А у нас не могут без опечаток...

Дома я рассказал отцу о своем открытии. Он выслушал меня и пожал плечами:

— Ну и что? Смысл-то от этого не изменился.

Я, конечно, согласился с отцом, но это не рассеяло моего недоумения. И потому на следующий день на первом же уроке я обратился с интересующим меня вопросом к нашей учительнице Анне Владиславне. Мое любопытство она истолковала по-своему:

— Ты эти хитрости брось: меня ведь не проведешь. Не выучил за воскресенье урока — имей мужество честно признаться, и нечего тень на плетень наводить... А то, видите ли, его пушкинский памятник на уроке русского языка заинтересовал... Жить без него не может... А ну иди к доске и тетрадь с домашним заданием захвати.

К удивлению Анны Владиславны, урок я ответил без запинки. И домашнее задание по письму оказалось выполненным. Это несколько обескуражило учительницу: значит, вопрос мой не был дешевой уловкой.

— Ну и где же ты отыскал искаженный стих Александра Сергеевича? — спросила она, прищурив глаза.

Я с готовностью повторил свой рассказ о вчерашней поездке на Пушкинскую площадь и дважды для убедительности процитировал выбитую на граните пьедестала надпись.

— А ты не запамятовал? — снисходительно улыбнулась учительница.

— Да нет же, нет, — с обидой в голосе воскликнул я, видя, что Анна Владиславна и сейчас не верит моим словам.

— Не знаю, не знаю, — закачала головой учительница. — Я что-то такой ошибки не замечала, хотя десятки раз проходила мимо памятника. Проверь себя еще раз.

Это пожелание нисколько не поколебало моей уверенности в своей правоте. Но тем не менее после занятий я снова поехал на Пушкинскую площадь. И, конечно, зря потерял время и сорок копеек, потраченные на трамвайные билеты. Времени-то не жалко, а вот деньги... Это же два мороженых!

Возвратившись домой в расстроенных чувствах, я сел и написал письмо в редакцию газеты «Вечерняя Москва». Так, мол, и так, все читают надпись на памятнике Пушкину и не замечают перестановки слов. А я, хоть и не круглый отличник, заметил. Конечно, ошибки грубой тут нет — это от невнимательности, но все же я советую сделать на памятнике исправление, чтобы в будущем была рифма «народу — свободу».

Прежде чем отправить письмо в редакцию, я дал прочитать его Але Сергеевой. Во-первых, мне хотелось, чтобы она исправила орфографию, с которой у меня вечно бывали нелады. А во-вторых, я надеялся, что сочиненное мною письмо в газету поднимет мой авторитет в глазах отличницы, к которой, прямо скажу, я был неравнодушен, а она ничем не отличала меня от других мальчишек нашего класса. И уж ежели быть до конца откровенным, то и письмо-то я написал в газету ради этого отличия. Я был уверен, что его напечатают: вопрос куда более серьезный, нежели многие из тех, которые я читал в разделе газеты «Спрашивай — отвечаем». Ах как бы это было чудесно, если однажды Анна Владиславна вошла бы в класс с «Вечеркой» в руках и сказала: «Ребята, послушайте, что газета отвечает вашему товарищу и какие меры приняты по его справедливому предложению...»

Письмо не напечатали ни завтра, ни послезавтра. Ни через неделю, ни через месяц, ни через полгода. Я уже

и забыл о нем, как вдруг обстоятельства заставили меня вспомнить про письмо.

...Столетие со дня гибели Пушкина отмечала вся страна. 10 февраля 1937 года мы всем классом вместе с Анной Владиславной приехали на Пушкинскую площадь, чтобы возложить к памятнику венок из самодельных бумажных цветов и еловой лапки. Горловина Тверского бульвара на подступах к площади — в то время памятник стоял там — была запружена народом. По узкому коридору, проложенному милицией сквозь толпу, к монументу шли делегации с венками. Нам повезло вклиниться в этот поток.

И вот мы у памятника. Нарочито громко с расстановкой я читаю выбитые на граните постамента стихи и... не верю своим глазам.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

— Ну где же ты нашел перестановку слов? — спрашивает меня Анна Владиславна.

Я хлопаю глазами и молчу.

— Да он все выдумал, чтобы выхвалиться, — презрительно говорит кто-то из девчонок.

Эта обидная реплика возвращает мне дар речи.

— И вовсе не выдумал, — горячо протестую я, — честное пионерское!.. Я даже в газету об этом писал, спросите хоть у Сергеевой.

И тут меня осеняет догадка: это же мое письмо возымело действие. В редакции его прочитали и распорядились переделать надпись. Все просто и логично!.. Но сказать об этом вслух я не решаюсь: Серега Потапов или Буся Шенфельд обязательно поднимут меня на смех.

— Ребята, он правильно говорит, — слышу я голос Али Сергеевой. — Он писал письмо и сделал три ошибки, а я их исправила...

К нашей группе подскакивает мужчина с красной повязкой на рукаве.

— Вы что расшумелись? — сердито спрашивает он. — Тихо!

В отчаянии я обращаюсь к нему с последней надеждой на авторитетную защиту:

— Ведь правда, что здесь раньше было написано

«и долго буду я народу тем любезен»... Я сам видел, а мне никто не верит!

Мужчине некогда: его волнует другое, поскольку на него возложена ответственная и почетная обязанность блюсти порядок во время возложения венков к памятнику. И он бросает мне скороговоркой:

— Было, было, а теперь, слава богу, исправили... Тихо!

И убегает к другой группе, замешкавшейся у памятника со своим венком. Но этих отрывочных слов вполне достаточно, чтобы снять с меня подозрения в непорядочности и пристыдить тех, кто дурно обо мне подумал. Только при чем тут «слава богу». Это мне нужно сказать спасибо.

Вплоть до восьмого класса я был твердо убежден, что именно мое письмо сыграло роль в переделке надписи на памятнике. Но вот однажды Аля Сергеева дала мне толстый том «Литературного наследства» и сказала загадочно:

— Прочитай страницу, где закладка — тебе это будет очень полезно.

Я открыл книгу... И книга открыла мне истину, нанеся сокрушительный удар по моему мальчишескому самомнению. Не мне, не мне мир обязан тем, что сегодня на памятнике поэту люди читают подлинную пушкинскую строфу! А та злосчастная перестановка слов появилась вот каким образом. Поэт Василий Жуковский, разбирая после смерти Пушкина его бумаги, обнаружил беловик стихотворения, начинавшегося словами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Но предложить стих для публикации в первозданном виде Жуковский не решился, справедливо полагая, что цензура посчитает его крамольным и непременно изымет из книги. И Жуковский, ради того, чтобы подарить читающей России еще одно произведение любимого поэта, переиначил четвертую строфу на свой манер:

> И долго буду тем народу я любезен,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал,
> Что прелестью живой стихов я был полезен
> И милость к падшим призывал.

Только в 1881 году широкому читателю стал известен первоначальный текст «Памятника». Но к этому времени монумент в Москве был уже открыт, и генерал-губернатор не позволил переделывать надпись, посчитав сию затею блажью либералов.

Каменная плита со старым текстом была заменена на новую в январе 1937 года, накануне столетия со дня смерти поэта. По решению Академии Наук СССР.

А я-то, несмышленыш, что себе вообразил! Хорошо хоть хватило ума втайне от других держать свою глупую мыслишку. И на том судьбе спасибо.

ПЕРВАЯ РОЛЬ

Предмет моего безрассудного обожания звали Таней. Была она на пять лет старше меня, училась в десятом классе, а жила по соседству с нашим бараком в первом подъезде единственного на все Тушино пятиэтажного дома. Ее отец, летчик-инструктор местного аэроклуба, носил на гимнастерке почетный знак Осоавиахима, по размерам и по красоте не уступавший ордену. И это, естественно, еще выше поднимало Таню в моих глазах.

При встречах я всегда старался чем-нибудь обратить на себя ее внимание, но Таня не замечала меня. Не замечала до тех пор, пока в один из солнечных дней сентября не привел ее в наш класс сам директор школы Игнатий Яковлевич Кравченко.

— Хлопцы, дивитесь, — сказал он, — вот ваша новая пионервожатая.

Высокая, стройная, с толстой каштановой косой, с веселыми карими глазами и необыкновенно звонким голосом Таня враз понравилась всем моим одноклассникам. Именно о такой вожатой мечтали мы весь прошлый год, когда нашим отрядом руководил картавый кривоногий коротышка Сема. На пионерской линейке его команды «напга-во», «смиг-на» нельзя было слушать без смеха. Это выводило парня из себя, он бледнел и выкрикивал еще смешнее: «пге-кга-тить».

По сравнению с Семой Таня была просто богиней красоты. Мы гордились ею, самой красивой пионервожатой в школе. Мы любили ее. Особенно я, имевший на это больше прав, чем кто бы то ни было из нашего класса: все-таки она была моей соседкой по месту жительства. И потому поручения Тани — выпустить стенгазету, написать плакат, навестить больного одноклассника, разнести поздравительные открытки пенсионерам и многое-многое другое — я выполнял с таким усердием, с такой оперативностью, что вскоре завоевал у нее ав-

торитет самого прилежного и надежного общественника в классе.

Как-то после уроков слонялся я без дела по школе. В один класс заглянул, в другой — пусто. Сунул нос в третий и, не успев толком рассмотреть, что там происходит, услышал властный окрик:

— Закрой дверь!

Сами знаете, как трудно двенадцатилетнему непоседе пересилить свое любопытство и безропотно подчиниться подобному приказу. Дверь я, разумеется, закрыл. Но неплотно. И тотчас прильнул ухом к образовавшейся щели.

Прошло немало времени, пока я уловил смысл происходящего за дверью. Там шло совещание штаба партизанского отряда. Обсуждался вопрос, как перехитрить врага и вырваться из окружения. Конечно, если бы в отряде не было раненых, все решилось бы очень просто: неожиданный удар в направлении хутора, и цепь беляков прорвана. Но раненые! Не оставлять же их на погибель!

О том, какое решение принял командир, я узнал немного позже, так как разговаривавшие перешли на шепот, потом и вовсе замолчали. Вдруг дверь с треском распахнулась и чья-то могучая рука схватила меня за шиворот:

— Подслушиваешь?.. А ну иди сюда, голубчик.

Несмотря на мое отчаянное сопротивление, я был втащен в класс и поставлен перед столом, за которым восседал Сергей Ларин, первейший в школе силач из десятого «А».

— Шпион? — коротко спросил он, взглянув исподлобья на меня.

— Нет, — пролепетал я.

— Значит, лазутчик.

Я хоть и не знал, что обозначает это слово, но поскольку оно показалось мне гораздо безобиднее «шпиона», согласно кивнул головой. Все находившиеся в классе громко рассмеялись.

— Ну если так, будешь строго наказан, — пообещал Сергей.

— Но он же сам признался — надо сделать снисхождение.

Это сказала Таня. А я ее и не заметил сразу-то! Ну теперь я спасен: она не даст меня в обиду, и наказа-

не будет ограничено словесным внушением или, в крайнем случае, легким подзатыльником.

Но дело обернулось иначе. Два дюжих десятиклассника уложили меня на пол и велели трижды сказать «ох». Я был так напуган предчувствием, что за этим «ох» последует какая-то каверза, что-нибудь вроде традиционного «показа Москвы», и охнул неподдельно страдальческим голосом.

— Молодец, — похвалил Сергей Ларин. — Годится.

— Я же говорила: у него получится! — обрадованно воскликнула Таня.

— Ну все, — постучал ладонью по столу Ларин. — Раненый есть, поехали дальше. Коля, дай Татьяне реплику.

Так я оказался «задействованным» в постановке школьного драмкружка пьесы из времен гражданской войны. Мои функции были предельно просты: в продолжении всего действия я должен лежать на полу в глубине сцены, изображая тяжело раненного бойца, и в определенные моменты издавать стоны. По-видимому, из взрослых ребят никто не соглашался играть эту бессловесную третьестепенную роль. А тут как раз подвернулся я, заглянувший в дверь класса, где шла репетиция. Таня заметила меня и предложила Сергею — постановщику спектакля — дать роль раненого мне, активисту ее пионерского отряда.

Я был осчастливлен не столько доверием режиссера, сколько возможностью по средам в течение полутора часов находиться в обществе Тани, следить за ее легкими изящными движениями, слушать ее звонкий голос. Она играла ведущую роль комиссара партизанского отряда Клавдии Лагутиной.

Первые репетиции проходили в классной комнате за учительским столом. Я же, не имевший ни одной реплики, сидел на парте в некотором отдалении от главных действующих лиц и ждал сигнала Сергея Ларина, чтобы издать жалобный стон или охнуть. Это у меня получалось очень даже натурально. Каждый раз Таня бросала на меня одобряющий взгляд и едва заметно кивала головой.

Ух, как мне были дороги эти знаки внимания. Я только досадовал на автора пьесы, который ограничил речь моего персонажа одними оханьями. Таня — я это чувствовал — понимала мою обиду и даже как-то предложила режиссеру разрешить мне вместо стенаний произно-

сить иногда что-нибудь вроде «ой, болит». Но Сергей, окинув меня недоверчивым взглядом, изрек:

— Не пойдет, у него голос мальчишеский.

Когда приступили к разучиванию мизансцен, мне было определено место на полу под классной доской. Я тотчас растянулся на подостланной газете и сложил на груди руки.

— Но-но, — крикнул режиссер, — ты же не покойник. Вытяни руки вдоль туловища, носки врозь. Вот в такой позе и будешь лежать во время всего действия. Запомнил?.. А теперь вставай и не мешайся под ногами.

Только на генеральной репетиции мне, наконец, было разрешено занять свою лежанку. Таня забинтовала мою голову и по шею укрыла солдатской шинелью. Сама она была одета в гимнастерку, подпоясанную широким ремнем со скрипучей портупеей, и темно-синюю юбку. В косе алела широкая шелковая лента. Такой красивой я ее никогда не видел!

— Ну тихо, — хлопнул в ладоши Сергей Ларин. — Все по местам. Начали!..

Я лежал неподвижно, впялив глаза в потолок, и, опережая действующих лиц, мысленно произносил их тексты. Всю пьесу за время репетиций я успел выучить наизусть и вместе с режиссером очень возмущался (про себя, разумеется), когда кто-нибудь из артистов перевирал слова или с опозданием вставлял свою реплику.

Ну, а теперь о самом главном...

Над нашей школой шефствовал Тушинский аэроклуб. А шефом аэроклуба был прославленный летчик Валерий Павлович Чкалов. Не знаю, у кого из драмкружковцев возникла мысль пригласить его на премьеру нашей постановки. Наверно, это была Танина затея. По крайней мере, именно она принесла в школу сногсшибательную весть о том, что Валерий Павлович согласился прийти к нам в субботу вечером и посмотреть спектакль.

А в субботу рано утром ко мне домой пришла расстроенная Танина мама и сообщила, что ночью с приступом аппендицита ее дочь увезли в больницу. Операция прошла нормально, Таня чувствует себя хорошо. Но вот спектакль нынешний придется отложить до ее выздоровления. Обо всем этом Таня написала в записке, которую я должен был передать Сереже Ларину.

Известие о Таниной болезни повергло в уныние не только нас, участников спектакля. Всю школу, так усердно готовившуюся к приему знаменитого летчика. Ди-

ректор Игнатий Яковлевич был просто вне себя. Это что же теперь будет! Кому, как не ему в первую голову придется краснеть перед высоким гостем. Упросили, пригласили, наобещали, оторвали от дел — и вдруг такой конфуз.

Директор несколько раз вызывал меня с уроков в свой кабинет и в присутствии то завуча, то старшей пионервожатой, то Сергея Ларина заставлял еще и еще раз рассказывать об утреннем визите Таниной мамы. Не имея терпения дослушать мой рассказ до конца, Игнатий Яковлевич вскакивал со стула и принимался рубить ладонью воздух:

— Нет, нет и еще раз нет!.. Срывать спектакль нельзя. Во-первых, мероприятие это на контроле гороно. А во-вторых, в каком свете предстанет коллектив нашей передовой школы в глазах Героя Советского Союза?.. Об этом вы подумали?..

И, повернувшись к Сергею Ларину, вдруг спрашивал в упор:

— А без комиссара не сумеете обойтись?

— Нет, — качал головой режиссер, — на этом образе вся пьеса держится.

Директор делал несколько быстрых шажков по кабинету, снова подходил к Сергею.

— А заменить Таню кто-нибудь может?

— Никто, — обреченно вздыхал Сергей. — Текст большой, разве его за день выучишь... А потом — мизансцены.

— Мизансцены, мизансцены, — передразнивал ученика директор, опять принимаясь носиться взад-вперед по кабинету. — Чем думали? Нет бы басню какую в лицах разыграть или чеховского «Злоумышленника» поставить. Им, видите ли, крупные формы нужны... Вы бы еще за «Оптимистическую трагедию» взялись... Ну думай, думай, заводила. Я тебе выхода искать не стану, у меня своих забот по горло... Наломают дров, а отвечай Кравченко.

Вспомнив о моем присутствии, директор вытягивает руку по направлению двери и командует:

— Марш на урок... Развесил, понимаешь, уши.

— Постой, — Сергей ловит меня за рукав. — Таня говорила, что ты всю пьесу наизусть знаешь. Верно это?

— Верно, — отвечаю.

— А за Таню... сыграть сумеешь?

За Таню? Вопрос этот меня ошеломляет. Я никак не

могу взять в толк, шутит Сергей или спрашивает серьезно.

— А почему не сумеет, если знает слова? — отвечает за меня Игнатий Яковлевич, и в его глазах вспыхивает огонек надежды. — Оденем его в юбку, парик напялим, губы подмажем — чем не дивчина! Ну, а что касается ваших мизансцен, не театр ведь у нас, а самодеятельность... Притом — детская. Какой спрос с ребят.

— А я и мизансцены все помню, — осмелев, заявляю я.

— Гляди-ка! — восклицает директор, — он же настоящий артист... с погорелого театру. Ну-ка, режиссер, собирай своих погорельцев и репетируй хоть до самого вечера, чтобы от зубов отскакивало!

...Репетицию Сергей начал безо всякого энтузиазма. Не шумел, как обычно, не возмущался и не хватался в отчаянии за виски. С миной обреченного, если не на смерть, так на неминуемый позор, следил он за ходом действия и вяло кивал головой. И все мои партнеры тоже были, словно неживые: мямлили текст, рассеянно смотрели по сторонам, ухмылялись глупо, вместо того чтобы изображать на лицах кипение страстей. Один я лез из кожи, стараясь в точности скопировать Татьяну, ее жесты, движения, даже голос.

К концу репетиции режиссер несколько оживился. И артисты вроде бы приободрились, так что заключительную сцену все провели в должном патетическом ключе.

— А вроде бы и не так уж плохо, — услышал я за спиной голос Сергея. — Давайте-ка еще разок все с начала. С полной отдачей...

Мы ждали Валерия Павловича к семи часам. Ровно в шесть тридцать к школе подкатила легковая машина. Из нее вылез какой-то военный (не Чкалов — это мы определили сразу) и прошел в кабинет директора. Минут пять спустя они оба появились за кулисами сцены, где мы, уже облаченные в соответствующие костюмы, накладывали на лица грим.

— Как идут дела? — весело спросил директор.

— Все почти готово, — ответил Ларин.

— Это хорошо, — сказал незнакомый военный. — Только должен вас немного огорчить: Валерия Павловича вызвали в Кремль. Он просит у вас извинения и торжественно обещает прибыть на спектакль в следующую субботу. Вас это устроит?

...Чкалов сдержал свое обещание. Наша постановка очень понравилась. Он похвалил всех исполнителей, особенно Таню. Она только накануне вышла из больницы и мужественно, как и подобает настоящему комиссару, провела свою роль.

А вот меня Чкалов не заметил. Потому что я перед самым началом спектакля ухитрился потерять бинт, которым должна быть обмотана моя глупая башка. И раздосадованный режиссер велел накрыть меня шинелью с головой. Так что, наверное, и стонов-то моих не было слышно в зале. А уж вздохов — и подавно.

ГАРМОНЬ

Был среди нашей многочисленной родни один человек, которого никто из родственников терпеть не мог — Василий Васильевич Казанский. Муж тети Вари — сестры моей матери. Работал он дежурным по разъезду Тырница Московско-Казанской железной дороги и имел, между прочим, именные часы от наркома путей сообщения за многолетнюю беспорочную службу. Этим, собственно говоря, и исчерпывались его достоинства. Во всем же остальном — никчемный был мужичонка. Выпивоха, скандалист и враль, каких свет не видывал. Это с точки зрения нашей родни.

Оснований не любить Василия Васильевича было, конечно, предостаточно, что уж тут говорить. Моя бабка, а его теща, частенько рассказывала мне страшную историю, как непутевый Васька однажды чуть не лишил ее жизни. Приехала она на пару деньков к дочке Варваре. Ночевать гостью уложили на русскую печь. А там блохи. Ворочалась, ворочалась бабка да и уронила с печи утюг. От страшного грохота проснулся зять.

— Ты чего там буянишь? — кричит бабке.

— Да блохи проклятые не дают заснуть, — оправдывается старуха.

— Блохи, говоришь? — грозно переспрашивает Василий. — Ну сейчас я им задам, так их перетак...

С этими нелюбезными словами встает зятек с кровати, достает с полки пачку перетруму и начинает горстями метать порошок на печь.

— Ты что же, разбойник, делаешь, — вопит с печи бабка, — меня-то задушишь!

А он ей снизу таким смиренным голосом отвечает:

— Нате тебе. Прочихаешься — здоровее будешь... А ты думала, что я за блохами-то поодиночке буду гоняться?

Пыталась бабка с печи убраться. Да разве такой греховодник упустит случая покуражиться над тещей. Она протягивает ногу вниз, а он хвать за голую пятку и щекотать.

— Вот уж натерпелась я страху, — закончила рассказ бабка. — Хорошо, Варюшка проснулась, уволокла злодея в сени, не то бы лежать твоей бабушке сейчас под осиновым крестиком.

А мне лично дядя Вася нравился. За необыкновенное дарование рассказчика-импровизатора. Всяких любопытных историй было в его неладно сложившейся жизни превеликое множество. И о каждом таком случае Василий Васильевич рассказывал во множестве вариантов, никогда не повторяясь в деталях. Тут же в ходе повествования давал он старому сюжету новый неожиданный поворот, ловко выввертывался из противоречий, которыми изобиловали его истории.

— Ну пошла писать губерния, — скажет, бывало, тетя Варя и, махнув рукой, уйдет к соседям.

Если при жене Василий Васильевич все-таки старался придерживаться в своих рассказах какого-то правдоподобия и это, естественно, притормаживало полет его бойкой мысли, то теперь, совершенно раскованный, он мог дать полный простор своей фантазии. Оставшись наедине со своими слушателями, Василий Васильевич в пылу самозабвения, как говорится, врал напропалую. Да так занимательно, с таким искрометным юмором — не хочешь, да заслушаешься.

И что особенно важно: в его рассказах никогда не присутствовал элемент хвастовства, пустого пьяного бахвальства. Наоборот, сам рассказчик выглядел в них чем-то вроде козла отпущения и в финале непременно оставался в дураках. Это очень забавляло слушателей, но самого Василия Васильевича приводило в расстройство чувств. Закончив рассказ, он вдруг начинал совершенно по-детски плакать и жалеть самого себя. Потому, что если уж кто и верил в подлинность рассказанных историй, так это был сам автор, Василий Васильевич Казанский.

А еще я любил своего дядьку за то, что он мастерски играл на гармошке. Его репертуарный диапазон был огромен, простираясь от «Хаз-Булата удалого» до про-

изведений Бетховена. Правда, из Бетховена Василий Васильевич играл только один укороченный припев к «Шотландской застольной»:

> Налей полней бокалы,
> Кто врет, что мы, брат, пьяны,
> Бездельник, кто с нами не пьет,
> Сосед, наливай, твой черед.

Припев этот, звучавший безбожно фальшиво по причине несовершенства музыкального инструмента, Василий Васильевич повторял раз десять и при этом изображал на лице живописнейшие гримасы человека во всех стадиях опьянения.

Но когда дело доходило до плясовой, кадрили, частушек, тут уж исполнительский талант Василия Васильевича раскрывался во всем блеске. Надо было видеть, с какой залихватской манерой растягивал он малиновые меха своей видавшей виды хромки. Во всю ширь распростертых рук. И потом, дойдя до предельной точки растяжения, когда складки меха вытягивались в одну прямую линию, Василь Васильевич каким-то необыкновенно ловким движением зигзагообразно переламывал меха и с яростью сжимал инструмент, извлекая из планок звуки, способные заглушить все на свете.

Василий Васильевич мог играть без устали час, два, три... Выбивались из сил плясуны, хрипли глотки частушечников, а дядя Вася, бывало, тряхнет головой, чтобы сбросить нависшие на ресницах капли пота, и с новым приливом энергии примется терзать свою «гармозу».

— Из-за гармошки-то этой проклятой и спознался Васек с винищем, — частенько говорила тетя Варя. — Ведь один он такой безотказный на всю округу. У кого свадьба, именины или прочая какая радость — за ним бегут. Ну а плата за игру, сами знаете... Денег он не берет, значит, накачают мужика самогоном до одури, приведут домой: «принимай, хозяйка, веселого человека».

Пьяным Василий Васильевич был ой как нехорош. И дрался, и посуду колотил. Одно спасение у тети Вари: схватит, бывало, его хромку, поднимет над головой:

— Не утихомиришься, расшибу гармошку!

Угроза действовала безотказно. Дядя Вася послушно садился на пол, кое-как стаскивал с одной ноги сапог, клал его под голову и ложился спать на половике.

Да, гармошкой он очень дорожил. Больше, чем наградными часами. Однажды, по совету тестя, видевшего

в музыке корень всех бед, променял пьяный Василий свою хромку и в придачу часы на велосипед. Наутро проспался и загрустил. Пошел размениваться. Гармонь вернул, а часы именные пришлось оставить в качестве промена.

Неоднократно, выбрав момент, когда дядя находился на службе, я осторожно снимал с комода его гармонь и пытался подобрать на ней какую-нибудь простенькую мелодию. Но, как я ни тужился, как ни старался, растягивая и сжимая меха, вместо звуков инструмент издавал совершенно немузыкальный шип, очень похожий на сопение спящего.

— Эх, милый,— смеялась тетя Варя,— силенок-то у тебя еще маловато.

* * *

На войну Василий Васильевич ушел в июле сорок первого. А вернулся в декабре. Без ноги и без руки. До фронта не доехал: где-то под Ельцом разбомбили «юнкерсы» их воинский эшелон. И больше уже не слышала Тырница голосистой гармошки дяди Васи. Утратившая дар звука, стояла она, как и прежде, на комоде, прикрытая кружевной накидкой. Только не прыгал на ее лакированном корпусе веселый солнечный зайчонок, потемнела латунная окантовка грифа, помутнели перламутровые пуговки ладов.

После войны кто-то из жителей Тырницы привез из Германии трофейный аккордеон. Пиликал на нем по вечерам, собирал девок на пятачок возле сельсоветского крыльца. Однажды приковылял на топотуху дядя Вася, долго курил в стороне. Потом, пересилив смущение, спросил у аккордеониста:

— А «Подгорную» можешь?

— Не-е,— протянул парень.— «Розе Мунду» — это пожалуйста.

И лихо заиграл привезенную из Германии веселую, заводную мелодию. Дядя Вася виновато улыбнулся, отступил в тень. Ушел так же незаметно, как и появился. Дома снял с комода хромку, сдул с мехов пыль, кликнул тетю Варю.

— Свези-ка ее, мать, в район... в музей. Думаю, заслужила моя хромка такую честь.

— А как не примут? — спросила жена.

— А не примут, домой волоки,— ответил Васильевич,— только и делов-то.

В музее тетю Варю встретили как нельзя лучше. Гармонь долго рассматривали, пробовали на звук, потом «оприходовали»: записали в толстую конторскую книгу, приляпали к корпусу поверх перламутровой розочки бумагу с инвентарным номером и водрузили на стеллаж кладовой по соседству с керосиновой лампой и фигурной бутылью из-под дореволюционной смирновской водки.

— А туда-то вы ее не поставите? — несмело спросила тетя Варя, кивнув головой в сторону экспозиционного зала.

— Подреставрируем и обязательно поставим, — заверила молоденькая сотрудница музея. — Это же бесценная реликвия эпохи становления деревни на рельсы коллективизации. Вы знаете, как поэт Жаров назвал такую гармонь? Поэзией российских деревень!.. Может, есть у вас еще старинные подсвечники, иконы, что-нибудь из бытовой резьбы по дереву?

— Чего нет, того нет, — засмущалась тетя Варя.

— Ну и ладно, — весело откликнулась девушка. — А за музыкальный инструмент — огромное спасибо.

Василь Васильевич был очень рад и горд за свою гармошку. Шутка ли — всему району напоказ будет выставлена. И табличка внизу «Руками не трогать»... Конечно, многие односельчане узнают ее. А узнают, вспомнят добром и безотказного гармониста.

* * *

Лет через восемь случился Казанскому путь в районный центр на примерку нового протеза. Выпросил я у председателя нашего колхоза легковушку и поехал вместе с дядей. За полдня обделали мы все дела. Шофер Коля торопит назад ехать, чтобы засветло до Тырницы добраться. Да засвербило у Васильевича сердечко, захотелось ему взглянуть на свою подругу голосистую.

— Айдате, — говорит, — ребята, в музей, посмотрим, как она там...

Желание ветерана, конечно, уважили. Ходили, ходили по залу, дивились на черепки доисторических горшков, на кости разных ископаемых животных. Даже зуб мамонта видели. А гармошки нет как нет.

Заскучал дядя Вася. Деревянной ногой стучит по паркету все громче и громче, волнуется, значит, мужик.

Спрашиваю я у смотрительницы про гармонь. Она ничего не знает. Пошли к директору, а тот в музее сам человек новый.

— Не было, — говорит, — тут никаких гармошек. Может, в запасниках где.

Завел нас в кладовку.

— Так вот же она, милая, — обрадовался дядя Вася, увидев свою хромку в углу комнаты, заваленную каким-то непотребным хламьем.

Кое-как извлекли инструмент на свет божий, да лучше б и не извлекали. Корпус у гармошки рассохся, лак облупился, в мехах дыры, пуговок на ладах половины не хватает.

— Затопило нас прошлой зимой: трубы батарей полопались, — объяснила заведующая фондом. — Кое-какие экспонаты пострадали. Гармонь ваша тоже.

— Да вы не огорчайтесь, — бодро сказал директор,— восстановим мы ее — лучше новой будет выглядеть.

— Может, не нужна она вам? — с надеждой спросил Василий Васильевич.

— То есть как не нужна, — обиделся директор, — это ж бесценная реликвия.

— Для вас, может, и бесценная, — вздохнул Василий Васильевич, — а у меня, между прочим, дороже этой гармошки ничего не было на свете. Можно, я ее обратно домой возьму.

Директор недоуменно вскинул брови.

— Да вы что, товарищ, какое же я имею право раздавать музейные экспонаты? Вон видите — на гармони инвентарный номер.

— А мы его послюним, он и отклеится, — нашелся Василий Васильевич и в сердцах плюнул на бумажный номерок.

— Что вы делаете! — воскликнул директор и выхватил у Казанского инструмент.

Раздался треск лопнувшего столярного клея и в руке Василия Васильевича остался гриф с клапанами на тоненьких металлических прутиках.

— Ну, это уже форменное хулиганство, — взорвался директор, — сейчас же покиньте служебное помещение или я вызову милицию.

Василий Васильевич осторожно положил гриф на стул и вышел из кладовки.

Почти до самого дома ехали мы молча. И уж когда стали спускаться с Ольховой горы и внизу замельтешили огоньки Тырницы, Василий Васильевич вдруг предложил:

— Хотите, я вам, ребята, про эту гармошку историю расскажу.

И, не дожидаясь согласия, начал.

— Купил я ее у одного цыгана в двадцать третьем году. Ехал я тогда с Дальнего Востока в одном вагоне с товарищем Вострецовым — комдив такой был знаменитый, вроде Чапаева. Он — к новому месту службы, а я после демобилизации домой в Тырницу. И случилось так, что сперли у меня проклятые мазурики прямо из-под головы мешок с харчем и пуховой шалью — матери в подарок вез. И такая меня мировая скорбь объяла, хоть на рельсы под колеса кидайся. Это ж надо подумать, я за того мазурика живьем, можно сказать, на вражий штык лез, а он, сукин сын, вон какую пакость мне учредил... Весть о краже мигом по всему вагону разнеслась. Кто жалел меня, кто считал, что именно так надо учить ротозеев. А товарищ комдив Вострецов подсел ко мне на лавку и говорит:

— Кончай, боец, нюни распускать и радуйся, что живым домой вертаешься. Прокормить мы тебя всем вагоном сумеем, а насчет подарка матери — тут дело проще, по-моему.

Обвел пассажиров веселыми глазами, тычет меня в брюхо пальцем.

— Приезд домой сына-героя, свернувшего шею мировой гидре, разве это не подарок матери-старушке?

Воспрянул я духом после таких слов товарища комдива и про мешок забыл. Только чем ближе к дому, тем неотвязнее думки: негоже вот эдак-то голяком после победы над гидрой домой вертаться. Вон сосед Венька Бугров, мать писала, куда против меня замухрышка и воевал-то всего с полгода, часы с кукушкой привез — всему селу потеха.

Купить бы что — деньги, хоть и невеликие, у меня есть — в кисете к исподней рубашке пришиты. Да на станциях, кроме вареной картошки без соли, ни черта нет.

И поезд шальной какой-то: на малом разъезде часами стоит, а как большая станция — две минуты и туту... Вот уж и к Сасову подъехали, отсюда до Тырницы

три перегона. Выскочил я из вагона и бегом к станционному базару. Еще издали заметил цыгана в красной рубахе. В руках у него узел, вроде ящика, что-то угловатое в платок завернуто. Он тоже на меня смотрит своими черными глазищами. И бегу я к нему прямиком, как лягушонок на ужа.

— Купи, солдат, гармошку.

— Покажь, — говорю.

Отвернул он угол платка, вижу — на ладах в два ряда пуговицы радужными цветами переливаются.

— Сколько? — спрашиваю.

— Пять с семью кренделями, — отвечает.

Соображаю: пятьдесят миллионов просит. Недорого, а у меня и того нет.

— Вот что, чавела, — показываю на пришитый кисет, — здесь сорок два мильена — все, что имею. Хочешь, возьми вместе с рубахой.

— Ты что же, — говорит, — по темному берешь товар? Не боишься, что обманет цыган.

А ведь верно, думаю, как же это я оплошал, не пощупал гармошку, не пиликнул. От ихнего брата любого подвоха ожидать можно. Вон они даже лошадей перед продажей надувают воздухом, чтобы справный вид имели. А цыган, между тем, продолжает:

— Первый раз встречаю покупателя, который бы на слово цыгану поверил, и потому не буду с тобой торговаться, — давай, что даешь.

Скинул я мигом гимнастерку, стянул с тела рубаху — отдал цыгану. А он мне гармонь, вместе с платком. Обнял я его на радостях, чмокнул в черную бороду и бегом к вагону. А поезд уже на рысях — еле запрыгнул. Обступили меня пассажиры, любуются покупкой. Не верят, что за сорок миллионов взял, ей, говорят, и миллиард — дешевая цена. Да еще платок в придачу. Конечно, не такой добротный, как украденная шаль, но года на три носки вполне хватит.

— Вот видишь, — смеется товарищ Вострецов, — нет худа без добра. Ну-ка потешь гармошкой компанию.

Набрасываю я ремень на плечо, растягиваю меха, жму на перламутровые кнопочки... Что за наваждение: издает гармонь вместо «подгорной» какие-то совершенно несуразные звуки... Обманул цыган! Надул, бродяга — всучил гармонь расстроенную.

— Да ты и играть-то, видать, не умеешь на хромке, — говорит пожилой сосед из мастеровых.

— На хромке!? — у меня враз камень с души. Кричу, как ошалелый. — Так это, значит, хромка?

— Ясное дело, — отвечает сосед.

— А я ведь на ней, как на венской дую.

— Да уж слышу, — смеется мастеровой. — У этой, паря, строй особый. Давай-ка сюда, покажу.

И как завел он «Златые горы», мать честная! У меня дрожь по всему телу от умиления. А может — от радости. Хоть, думаю, и нет на свете бога, а кто-то все-таки заботится о нашем брате — бойце Рабоче-Крестьянской Красной Армии, не дает ему сгинуть окончательно от рук всякой сволочи!

Показал мне сосед, как владеть этой самой хромкой. Я понятливый был малый. Тем более на венке раньше мало-мальски пиликал — стало быть, в музыке кое-что соображал. Словом, заявился я тогда в родное село заправским гармонистом...

* * *

Мы уже давно подъехали к дому Василия Васильевича, заглушили мотор, а он, забыв обо всем на свете, вдохновенно продолжал рассказывать нам о том, как полюбила его за эту гармошку самая ладная деваха села Варенька Рогожина...

И это, наверное, был первый рассказ Василия Васильевича, в котором не было ни капельки вымысла.

ЗАВИСТЬ

Человек я от природы независтливый. А если и завидовал кому в детстве, то это вполне можно объяснить моей тогдашней глупостью. Очень завидовал я тогда Лехе Баутину, его умению пронзительно свистеть, не прибегая к помощи пальцев, завидовал Володе Воротилову, поскольку его отец был знаменитым планеристом. Завидовал киноартисту Петру Мартыновичу Алейникову, потому что девчонки нашей улицы все поголовно были влюблены в него. И, наконец, Витьке Пухову: он был сильнее меня.

Что и говорить, зависть — черта отрицательная во всех отношениях. Кроме, разве что, одного: она заставляет человека выискивать средства, мобилизовывать волю, прилагать старание, чтобы самому приобрести те качества, которые составляют предмет твоей зависти.

Конечно, как бы я ни лез из кожи, отцу моему — рядовому конторскому служащему — ни в жизнь не подняться до уровня значимости Володиного родителя. Это я понял еще в третьем классе и убедил себя, что зависть к Вовке Воротиле беспочвенна.

Насчет Петра Алейникова тоже со временем сгладилась острота чувства. Я здраво рассудил: торопиться не надо, ибо у меня в запасе, по крайней мере, целая пятилетка. Вот кончу десять классов, выучусь на актера, тогда посоревнуемся.

С Лехой Баутиным вскоре мы поменялись ролями: он мне стал завидовать, поскольку я научился так оглушительно свистеть, что во всем Тушино не знал конкурентов. Я и сейчас еще не утратил формы в этом виде звукотворчества, и когда на стадионе во время футбольных матчей требуется выразить свое возмущение, я свищу. И в радиусе двадцати метров удивленные болельщики разом повертывают лица в мою сторону. Раньше я был бы рад такому вниманию, а теперь смущаюсь: годы не те!

А вот что касается преодоления зависти к Витьке Пухову, тут все оказалось куда сложнее. Он был годом старше меня и ростом выше на полголовы. Это ему придавало уверенность в физическом превосходстве надо мной. А моральный фактор, сами понимаете, тоже кое-что значит в единоборстве. Короче говоря, справиться с ним я не мог. Сколько бы раз ни сходились мы врукопашную, победа неизменно оставалась за Витькой. И нос он мне расквашивал, и фонари под глазами ставил, и шишки на башке набивал. А я только один раз удачно засветил ему по уху. Но поскольку следа от этого не осталось, а свидетелей в тот раз, как на грех, не было, Витька нахально отрицал получение от меня оплеухи. И я ничем не мог опровергнуть его.

Если бы в те предвоенные годы кто-нибудь у меня спросил, что я больше всего хочу на свете, я бы, не раздумывая, ответил: отлупить Ушастого. Так мы звали Витьку Пухова за его оттопыренные уши. Желание это настолько глубоко засело в мое сознание, что даже во время коротких перемирий я все время искал случая, чтобы как-то напакостить этому ненавистному типу. Витька это чувствовал и отвечал мне той же монетой.

В словесных пикировках я его побеждал запросто. Но, посрамленный интеллектуально, он провоцировал меня на кулачную стычку, которая заканчивалась, увы,

не в мою пользу. Я чувствовал, что для победы мне не хватало чуть-чуть... А чего? Я и сам не знал. И ведь что обидно, по всем косвенным признакам я не уступал ему в силе: пудовую гирю, как и он, поднимал одной рукой, на турнике тоже подтягивался двенадцать раз. Правда, плавал он быстрее меня, зато я мог заплывать дальше и дольше держался на воде. И в играх я был ловчее его. А начинали бороться, я оказывался внизу, о драках уж и не говорю.

Так в чем тут дело, ломал я голову, почему такая несправедливость?

Однажды в руки мне попала книжка Миллера «Моя система» с многообещающим подзаголовком «Как стать сильным». Бросив все дела, я принялся за чтение. Предисловие меня окрылило, в нем автор рассказывал, как он, благодаря выработанной им системе физических упражнений, превратился из болезненного слабосильного существа в атлета, не знавшего поражений на борцовских коврах Европы.

И самое главное, Миллер гарантировал успех всякому, кто будет прилежно заниматься по его методу в течение ста сорока дней. Значит, если я начну упражнять свои мышцы с завтрашнего дня, то... Сняв со стены отрывной календарь, я отсчитал нужное количество листочков и остановился на дате семнадцатое июня.

Ну что ж, это меня вполне устраивало: как раз начнутся летние каникулы, вся наша детвора будет в сборе и вот тогда-то мой триумф над Ушастым приобретет особую значимость. Представляю, как жалкий, посрамленный, утирая красные сопли, покинет он поле битвы и будет издали грозить мне кулаком. А мне тогда плевать на его угрозы...

Домашние задания я в тот день, разумеется, не выполнил: как засел после обеда за Миллера, так, пока не прочитал до конца, и не встал из-за стола. Бабушка была очень удивлена, видя мою необыкновенную усидчивость. Заходил Илья Минаков, звал кататься на лыжах. Но я отказался, что еще более удивило старушку.

— Да то ли ты учишь-то? — насторожилась она. — Ну-тко, дай посмотрю.

Прочитав фамилию автора, бабушка успокоилась: не Дюма, не Жюль Верн, не Вальтер Скотт — значит, книга деловая. Правда, ее несколько смутила изображенная на титульном листе античная скульптура обнаженного

метателя диска. Бабушка зажмурилась и, сказав «срамота», оставила меня в покое.

Ни один из приключенческих романов не читал я с таким упоением, как книгу Миллера. На каждой странице ждали меня удивительные открытия. О пользе физкультуры и спорта я, конечно, слышал сотни раз, но вот так убедительно, так обнадеживающе никто со мной не говорил.

На следующее утро я еще больше удивил бабушку, вскочив с кровати после первой побудки. Такого на ее памяти со мной еще не бывало. И отец изумился, увидев, как я самозабвенно, с полной отдачей сил, выполняю какие-то совершенно немыслимые упражнения.

— Это что за фокусы? — спросил он, дождавшись паузы.

Ни слова не говоря, я протянул ему книгу Миллера.

— Ах вот оно что! — улыбнулся отец. — И надолго тебя хватит?

— На сто сорок дней! — твердо ответил я.

Так началась для меня новая, наполненная смыслом жизнь. К распорядку дня, рекомендованному Миллером, я привык быстро. Вставал в половине седьмого, открывал форточку и двадцать минут делал гимнастику, состоявшую сплошь из силовых упражнений, доводивших меня до изнеможения. Потом я умывался по пояс холодной водой, растирался полотенцем, завтракал кашей из геркулеса и шел в школу, чередуя широкий шаг с пробежками.

Теперь постоянно в руке у меня был маленький мячик, который я усердно мял, развивая мышцы кистей. Голова моя тоже теперь не знала покоя. Давая нагрузку шейной мускулатуре, я старался как можно чаще вертеть головой, наклонять ее вперед-назад, вправо-влево. Учителя вначале делали мне замечания, но потом привыкли к моим конвульсиям и даже жалели меня.

Возвращаясь из школы домой, я заходил в единственный на все Тушино шестиэтажный дом и поднимался по лестнице на верхнюю площадку, стараясь шагать через две ступени. Вниз сбегал на цыпочках, вприпрыжку. Все это делалось, разумеется, в целях развития четырехглавой и икроножной мышц.

Наливая силой свое тело, я усердно заботился и об ослаблении организма своего врага. Витька покуривал втихомолку, и это меня очень радовало. Когда-то на день рождения отца сослуживцы подарили ему пачку

сигар. Отец обычно курил папиросы «Дукат», так что красивая коробка с сигарами долго лежала нераспечатанной. Но однажды случилась острая нужда в куреве, вспомнили про сигары, отец раскурил одну, закашлялся до слез и изрек:

— Пусть эту гадость самоубийцы курят.

Пачку, конечно, не выбросили — все-таки дорогой подарок — убрали подальше с глаз — в нижний ящик шкафа, где хранилась у нас старая обувь. И больше к сигарам никто не притрагивался. Так вот это «курево самоубийц» я и стал потихоньку таскать. По штуке в день. Для Витьки!

На эффективность действия табака я особых надежд не возлагал, но все же рассчитывал, что никотин в какой-то степени подточит силы моего противника. А я в процессе миллеровской программы буду постоянно наращивать свою мощь. Так что, может быть, не через 140 дней, а несколько раньше исполнится моя заветная мечта. Впрочем, торопливость здесь ни к чему — уж лучше выдержать требуемые сроки, чтобы действовать наверняка.

В конце апреля произошло событие, которое стало поворотным пунктом в истории моего соперничества с Витькой Пуховым. В школе проходил обычный весенний медосмотр: нас прослушивали, простукивали, обмеривали, взвешивали. Раньше этим и заканчивалась процедура. Но на сей раз было продолжение. Медсестра давала нам металлический эллипсовидный обод со шкалой и стрелкой внутри — динамометр. Нужно было что есть мочи сжать упругую пружину одной рукой и стрелка покажет величину твоей мышечной силы.

У всех моих одноклассников стрелка проходила едва треть сектора и останавливалась напротив цифры 30. А у меня рванула аж за половину. Медсестра сначала даже не поверила показаниям силомера, велела еще раз сжать обод и, убедившись, что с моей стороны нет никакого жульничества, сказала торжественно.

— Вот это я понимаю! Не каждый взрослый мужчина может выжать «60».

И она красным карандашом подчеркнула мою фамилию в списке.

На следующий день вся школа знала о моем рекорде. Пацаны из младших классов во время переменок приходили снизу на наш этаж и показывали меня друг другу. Старшие, как я заметил, тоже проявляли опреде-

проявил интерес к новоявленному Гераклу. Узнал о моем достижении и Витька Ушастый. Я это понял по неожиданной перемене его обращения со мной. Мы учились в одной школе, но в разных сменах, и довольно часто встречались на полпути между школой и домом. Я летел с занятий, а он плелся на уроки. Бывало, демонстративно проходит мимо, будто не замечает меня, да еще норовит локтем зацепить.

А теперь, смотрю, не прет нахально по середине дорожки, а прижимается к правой стороне, улыбается и даже пытается заговорить:

— Географичка не заболела?

— Нет, — отвечаю коротко.

— Жалко... Я контурную карту не начертил — кол влепит.

В другой раз протягивает кулек с тянучками.

— Я, — говорит, — рубль в подъезде нашел, угощайся.

Однажды вечером приходит к нам прямо домой, чего раньше никогда не бывало. Бабушка зовет его в комнату, но он машет мне рукой, чтобы я вышел в коридор.

— Чего? — спрашиваю.

Сует он мне в руки сборник задач и упражнений по алгербе и просит помочь ему пример решить на приведение подобных. Мне, конечно, это лестно, с одной стороны, а с другой — вроде бы и нежелательно выручать человека, которого я в скором времени собираюсь отлупить. Ну да ладно, одно другому в сущности не помешает. Сегодня он пришел ко мне с миром, и я должен проявить благородство, тем более пример этот мне знаком: мы его вчера в школе разбирали. И я показываю Витьке решение.

А он мне и говорит, что в будущее воскресенье детей работников канала «Москва-Волга» будут катать по Химкинскому водохранилищу на новом теплоходе «Иосиф Сталин», так что если захочу, у Витьки есть лишний пригласительный билет.

Конечно, захочу. Этот трехпалубный белоснежный красавец только-только появился в Северном порту столицы. О нем писала «Вечерняя Москва». Мы ходили смотреть на него издалека, с тушинского берега. По своим размерам он не шел ни в какое сравнение с теми пассажирскими судами, которые курсировали по каналу мимо нашего Тушина. Кто же откажется поплавать на таком замечательном теплоходе?

У меня сердце колотится от радости, и тем не менее соглашаюсь я не сразу. Долго раздумываю. Витька терпеливо ждет.

— Ну, ладно, — говорю, стараясь придать голосу оттенок равнодушия.

— Тогда пошли ко мне, — предлагает Пухов, — билет у меня дома.

Нет, я не иду за Витькой, я говорю ему, чтобы он принес билет завтра в школу. И он приносит, находит меня в пионерской комнате, где я с Сережей Потаповым занят выпуском стенгазеты, и кладет билет передо мной. Я сдержанно благодарю Пухова и продолжаю заниматься своим делом. Витька, покрутившись возле стола, исчезает.

В воскресение рано утром Пухов заходит за мной, мы идем пешком в Покровское-Стрешнево, садимся на один трамвай, доезжаем до Коптева, пересаживаемся на другой и едем на Химкинский речной вокзал. Разговор не вяжется. Всю дорогу меня мучает мысль: а как же быть с возмездием?

Я чувствую, что со мной что-то случилось: нет прежней злости на Ушастого. И вовсе не потому, что «подкупил» меня билетом. Перемена эта произошла гораздо раньше — когда я поставил рекорд в жиме динамометра, а точнее в тот день, когда Витька уступил мне дорогу, и я увидел на его лице заискивающую улыбку. Это был понятный только нам двоим знак, означающий добровольную сдачу моим недавним врагом господствующей высоты.

Ах, хитрюга! Я разгадал его финт. Если бы в драке при свидетелях Ушастый оказался побежденным, это было бы для его самолюбия куда более тяжелым ударом, нежели вот такая мирная, скрытая для всех, кроме меня, уступка лидерства. Не теряя авторитета в глазах детворы, Витька негласно признавал мое превосходство в силе и рассчитывал на снисхождение. Знал, что сам я без повода битвы не начну. Нахального, самонадеянного Ушастого я бы отлупил, а этого — кроткого, услужливого... Нет, рука не поднимется съездить такому по сопатке: никакого удовольствия.

...Поединок так и не состоялся.

Честно говоря, я не пожалел об этом, хотя в душе все-таки досадовал, что не удалось продемонстрировать перед ребятами всего того, что дали мне сто тридцать два дня занятий по системе Миллера. Восьми дней до

сорока я не стал дотягивать. Какое это теперь имело значение?

БОРТЖУРНАЛ САМОЛЕТА № 025

Дважды в жизни случалось со мной невероятное. Первый раз это было в пятом классе: в один день по пяти предметам я получил пять отметок «отлично»! В субботней ячейке дневника они выстроились этакой симпатичной этажерочкой, вызывая у всего класса если не зависть, то уж, наверняка, уважение. Олег Свистунов, мой сосед по парте, поглядывая искоса на эту, прямо скажем, сказочную картину, украдкой тяжело вздыхал: в его дневнике отличные отметки были только по поведению.

Домой в тот день я не шел — летел. Вот будет радость бабушке: уж больно она обожала мои «пятерки». И считала, что они лучше всяких растираний успокаивают ломоту в ее пояснице.

Возле булочной, куда я обычно забегал по пути из школы, чтобы купить буханку теплого пеклеванного хлеба, меня догнал Олежка.

— Ну? — спросил я, почувствовав, что не просто так бежал за мной приятель.

Олега, очевидно, смутила такая прямота вопроса. Он покраснел и после некоторого колебания попросил:

— Дай мне твой дневник до завтра.

— Зачем? — удивился я.

— Нужно.

— Да зачем нужно-то?

— А если скажу, дашь?

— Дам.

— Честное пионерское?

— Вот еще, — возмутился я. — Не веришь — не проси.

— Да нет, я верю, — быстро согласился приятель.

— Тогда говори.

Олег отвел глаза в сторону и промямлил:

— Там у тебя пять «отлично»...

— Ну а тебе-то от этого какая польза? — допытывался я.

Олег еще немного помедлил, но, увидев мой нетерпеливый жест, произнес скороговоркой:

— Чкалов на машине прокатит.

Ах вот оно что! Вот теперь все ясно. Я вспомнил

Олежкин рассказ о том, что каждую субботу в Тушинский аэроклуб, по соседству с которым живет семья Свистуновых, приезжает шеф-пилот Валерий Павлович Чкалов. Как потом по пути домой катает он ребят на своей машине, подаренной ему правительством после знаменитого перелета из Москвы через Северный полюс в Америку.

Правда, катает не всех желающих, а только пятерых (столько умещается на заднем сидении его лимузина). Попасть в эту пятерку очень даже не просто. Чкалов завел такой порядок: к семи часам вечера — в это время Чкалов заканчивает свои дела в аэроклубе — ребята приходят к машине с дневниками. Пока прогревается мотор, Валерий Павлович успевает просмотреть всю кипу, отложить пять с лучшими отметками за неделю и потом объявить:

— Сережа Потапов, Леня Годин, Яша Эрдман, Володя и Борис Горюновы — в машину. Остальным придется подтянуться.

Валерий Павлович довозил счастливчиков до Покровского-Стрешнева, а иногда до Колтева, высаживал возле автобусной остановки, давал рубль на обратную дорогу, а сам ехал дальше, в центр Москвы. Чкаловский рубль ребята, конечно, пускали на мороженое, а до Тушина за час добирались пешком.

Олег Свистунов ни разу не удостаивался чести прокатиться на легковушке прославленного летчика: отметки не позволяли ему конкурировать с другими претендентами. Он даже и к машине близко не подходил, со стороны наблюдал процедуру отбора пассажиров.

Тут надо заметить, что ребята, чьи дома были по соседству с аэроклубом, ревностно охраняли свою привилегию дежурства у чкаловской машины и ни под каким видом не допускали к ней чужаков. Нет, посмотреть на героя, на его лимузин издали — это пожалуйста. Но участвовать в конкурсе на место в салоне автомашины... Тут уж извините: аэроклуши — так мы в школе дразнили тех, кто живет в районе Тушинского аэроклуба — ревностно блюли свои интересы.

Ну что ж, я готов выручить товарища: дневника мне не жалко.

— Только сначала, — говорю, — пойдем ко мне домой, покажем дневник бабушке — ей это для здоровья необходимо, а потом бери.

Всю дорогу до моего дома Олежка не проронил ни

[illegible]. Я знал, что творилось в его душе: наверно, первый раз за всю свою тринадцатилетнюю жизнь он шел на обман. Я, конечно, не осуждал его, поскольку не видел в поступке приятеля ничего предосудительного. Он же не виноват, что математика ему не дается, что в диктантах он делает по десяти ошибок, что нет у него музыкального слуха и левая рука не разгибается в локте...

Ко мне в дом Олежка не идет — стесняется. Остается ждать у подъезда. Я выхожу минут через десять с дневником под мышкой и двумя кусками пеклеванного хлеба, посыпанными сахарным песком, себе и ему. Хлеб он берет, а от дневника отказывается.

Я по-своему понимаю причину такой неожиданной перемены и спешу заверить его честным пионерским словом, что по гроб жизни буду молчать, что ни одна душа не узнает о подмене. Но Олежка непреклонен.

— А знаешь что, — вдруг оживляется приятель. — Пойдем в аэроклуб. Ты сам покажешь Чкалову свой дневник, и он тебя обязательно прокатит.

Это было бы превосходно, соображаю я, да ведь там аэроклуши. Разве они подпустят чужого к Чкалову... Накостыляют и дневник разорвут.

Олег угадывает мои мысли и успокаивает:

— Не бойся, я скажу ребятам, что ты за меня. Не тронут.

Обычно Чкалов выходил из здания аэроклуба ровно в семь. На этот раз мы прождали его до восьми.

— Ребятки, сегодня я вас не возьму: поздно. Вот вам всем по конфетине «Мишка на севере», и до следующей субботы.

Огорченные, мы молча стояли поодаль, не смея запустить пальцы в кулек, протянутый Чкаловым. Вдруг Олежка выхватил из моих рук дневник и смело шагнул к Валерию Павловичу.

— А вы все-таки посмотрите, какие отметки получил сегодня вот он, — Олег кивнул в мою сторону и протянул дневник летчику.

Тот удивленно взглянул на меня, на Олежку, но дневник взял, развернул...

— Ух ты, вот это дело! Русский язык — отлично, ботаника — отлично, алгебра, история, рисование... Это что ж, всегда у тебя так?

— Нет, — потупился я. — Только сегодня.

— Следовательно, повезло?

— Да.





— А не сам ли ты этот марафет навел? — Валерий Павлович лукаво погрозил мне пальцем.

— Что вы! — оскорбился за меня Олег. — Мы же с ним за одной партой сидим...

— Ну извините, извините, — Чкалов приложил руку к сердцу и склонил голову. — Прошу в карету.

— Куда? — не понял я.

— На заднее сидение... И ты с ним за компанию, адвокат.

Это Валерий Павлович сказал Олегу и раскрыл перед нами дверцу машины.

Когда мы выехали на Волоколамское шоссе и миновали тоннель, Чкалов, не отрывая левой руки от руля, правой расстегнул стоявший на переднем сидении портфель, пошарил внутри и извлек оттуда какую-то книгу в красном переплете. Не оборачиваясь, он подал ее нам.

— Взгляните-ка и на мой дневник.

— «Штурманский бортовой журнал самолета номер 025», — прочитали мы вслух наклейку на обложке.

— Соображаете? — спросил через некоторое время Чкалов. — Да вы полистайте... Смелее, смелее... Здесь вся история нашего перелета в Америку.

Мы осторожно перелистали два десятка плотных листов и, разумеется, ничего не поняли в колонках многозначных чисел, не разобрали торопливого рукописного текста, заполнявшего разграфленные страницы. Единственно, что не нуждалось в комментариях—это подклеенная к первому листу карта северного полушария с жирной линией, соединяющей Москву с Сан-Франциско через Северный полюс.

— Ну? — опять спросил Чкалов.

— Здорово, — только и сказали мы.

— То-то, что здорово, — подтвердил Валерий Павлович. — А теперь кладите журнал в портфель, подъезжаем к Коптеву...

• • •

Бортжурнал самолета 025 мне довелось увидеть еще раз, но уже совсем другими глазами. И случай этот был в тысячу раз невероятнее, нежели тот, о котором я только что рассказал. Да вот, судите сами.

Берлин был взят нашими войсками 2 мая 1945 года. Я попал в столицу поверженной Германии на следующий день. Наш авиационный истребительный полк перебазировался из Франкфурта-на-Одере в Ораниенбург—

городок в сорока километрах западнее Берлина. С[illegible] последний вылет для сопровождения штурмовиков, [illegible] самолеты во Франкфурт не вернулись, а приземлились на аэродроме авиационных заводов Хенкеля возле Ораниенбурга. А мы, техсостав полка, двинули из Франкфурта к новому месту дислокации на автомашинах. Путь [illegible] малый — две сотни километров.

В кабине нашей головной машины ехал начальник штаба полка майор Душин — невысокий, подвижный, веселый человек, любитель разных побасенок, присловий и каламбуров. До войны он работал стартером на Тушинском аэродроме и очень гордился тем, что был лично знаком с такими флагманами пятого океана, как Чкалов, Байдуков, Беляков, Громов, Коккинаки... Когда однажды я осмелился заметить майору, что тоже жил в Тушино и тоже видывал знаменитых асов, а из рук Валерия Павловича однажды получил конфету «Мишка на севере» и прокатился на его машине, начальник штаба проникся ко мне особым расположением и называл меня не просто по фамилии, а с непременным прибавлением слова «земляк». Частенько встречая меня, волокущего на старт запасной контейнер с пудовым аккумулятором, Душин с сочувствием спрашивал:

— Тяжело? — и прибавлял. — Да, брат, это тебе не чкаловскую конфетку сосать.

До Берлина мы добрались под вечер. По пригороду ехали сравнительно быстро. Но когда, миновав массивы одноэтажных коттеджей, окруженных полисадниками, машины наши вкатились в черту города, ехать стало значительно труднее. Во-первых, проезжая часть была изувечена глубокими воронками, а местами завалена кирпичами рухнувших стен многоэтажных домов. Во-вторых, по некоторым улицам вообще было невозможно ехать: весь квартал полыхал, огонь над крышами домов соединялся в сплошную оранжевую шапку. Заехав в такую ловушку, машины давали задний ход, и начинались долгие поиски объезда.

Майор Душин останавливал машину на перекрестке, вылезал из кабины, с карманным фонариком подходил к угловому зданию и читал табличку с названием улицы. Потом склонялся над планом Берлина, водил по нему острием карандаша, колдовал, высчитывал и, наконец, отдавал распоряжение шоферу головной машины следовать новым курсом.

Видимо, майор был везучим человеком: в горящем

[illegible] в этом кромешном аду, наша колонна все-таки [illegible]алась вперед по намеченному маршруту в сторону Штетинского вокзала, откуда начиналось прямое шоссе на Ораниенбург.

Когда до цели, казалось, уже рукой подать, на пути вырос завал. Тяжелый снаряд отщипнул от многоэтажного здания угол и обрушил его на проезжую часть. В этом доме, видимо, находилась какая-то библиотека, из выбитых окон нижнего этажа, как из рога изобилия, скатились на мостовую потоки книг.

Майор Душин взял с собой пятерку автоматчиков и пошел искать выход из тупика. А мы, высыпав из кузовов машин, чтобы чуток подразмяться, ринулись через выбитые окна в библиотеку. Взрывная волна обрушила многоярусные стеллажи, и груды книг сплошным бесформенным массивом устилали ползала. Тысячи томов в дорогих переплетах, богато украшенных золотым тиснением, валялись под ногами. При занимавшемся свете майского утра поблескивали благородным металлом готические и латинские литеры на крышках фолиантов. И вдруг глаза мои уперлись в родные русские буквы. Они четко выделялись на белом фоне листка, приклеенного к красной обложке книги: «Штурманский бортовой журнал самолета номер 025».

В этот момент с улицы послышалась зычная команда вернувшегося майора Душина: «По машинам!» Я схватил красную книжку, сунул ее за борт шинели и бросился через оконный проем к своему грузовику.

По-настоящему рассмотреть находку я решился, только когда колонна наша выбралась из лабиринта Берлинских улиц и покатила по асфальтовой глади Ораниенбургского шоссе. Чтобы явственно вспомнить, где и при каких обстоятельствах видел я подобный журнал, достаточно было беглого взгляда на него там, в растерзанном хранилище библиотеки. И теперь я не торопился раскрывать книгу, боялся нарушить сладостную иллюзию. Рукавом шинели долго стирал с алого коленкора насевшую на обложку известковую пыль. Потом отвел глаза в сторону, чуть приподнял верхнюю крышку переплета и пальцем нащупал под ней кромку твердой бумаги. Точно! Это приклеенная к первой странице карта Северного полушария с жирной линией между Москвой и Сан-Франциско.

Смело переворачиваю корку переплета — так и есть. Читаю в углу «Карта астрономической ориентиров-

ки и генерального маршрута самолета 025. 1937 год». Одну за другой лихорадочно перелистываю страницы: на разграфленных разворотах в мелких клетках пестрят написанные фиолетовыми чернилами цифры. В верхнем правом углу выделяются типографские слова «летчик», «штурман». И напротив их от руки подписи «Чкалов», «Байдуков», «Беляков».

Сомнений нет: я держу в руках ценнейший документ. Тот самый, который когда-то показывал мне и Олегу Свистунову Валерий Павлович Чкалов. Другого подобного нет и быть не может.

Но как он попал в Берлин, в фашистское логово? На этот вопрос ни я, ни мои изумленные товарищи, которым я показал находку, ответить, разумеется, не могли. Даже предположительно. Майор Душин познакомился с журналом, когда мы доехали до места и разгрузились на стоянках Ораниенбургского аэродрома. Он молча листал его страницы, смотрел их на свет, щупал пальцами коленкор переплета и, усмехаясь, покачивал головой. Наконец, произнес не совсем уверенно:

— Черт его знает... Вроде бы вещь настоящая. Я помню, до войны бортовые журналы именно такой формы были, только бумага малость похуже... Впрочем, для такого выдающегося перелета могли, конечно, по особому заказу изладить...

Душин вновь углубился в изучение журнала.

— Вот что, земляк, давай-ка по инстанции в дивизию сообщим о твоей находке. Пиши рапорт на мое имя — так и так, мол, обнаружил в Берлине документ мирового значения... Ты хоть место-то запомнил, где нашел?

Еще бы не запомнить! С завязанными глазами найду, только довезите до того дома с отхваченным углом.

— Ну дом этот у меня на карте помечен, вот он, голубчик, — майор постучал ладонью по планшету с картой Берлина.

...И пошел мой рапорт вместе с приложенным к нему бортовым журналом путешествовать по инстанциям. Из дивизии в корпус, потом в армию. А уж куда дальше, и не знаю. При каждом удобном случае я спрашивал Душина, не пришел ли ответ. Но он только пожимал плечами и обнадеживающе хлопал меня по плечу:

— Жди, земляк... Чует мое сердце: крутая каша из твоей находки заварится.

Давно закончилась война. Прошла демобилизация

[illegible] возрастов. Эскадрилью покинули [illegible] в армию со студенческой скамьи. В по[illegible] [illegible]ние молодых летчиков и механиков. А [illegible] ждал и надеялся, что вот-вот в одном из [illegible] по армии, которые нам ежедневно зачитывал начальник штаба на [illegible] построении, услышу я про спасенный сержантом Пашиным бортовой журнал чкаловского самолета. И если положено мне поощрение за это, то попрошу отпуск домой на десять суток, не считая дороги.

И вот однажды во время подготовки самолетов к очередным вылетам меня вызвали в штаб к Душину. Не чуя под собой земли, грубейшим образом нарушив наставление по инженерно-авиационной службе, я пересек по прямой взлетную полосу, добежал до штаба и предстал перед начальником. В кабинете майора сидел незнакомый капитан. Увидев меня, он улыбнулся и спросил Душина:

— Этот?

— Он самый, — подтвердил начальник штаба.

— Ну, здравствуй, гвардии сержант, — протянул мне руку капитан. — Садись.

Уж не помню, сел я или продолжал стоять. Предчувствие чего-то необыкновенного, грандиозного переполняло мою душу. Почему-то я совершенно не сомневался, что вызов в штаб связан с моим рапортом... Ну не тяни, товарищ капитан. Видишь, я весь внимание.

— Однако, сыграл ты с нами шутку, — наконец, произнес незнакомый офицер, — на всю воздушную армию переполох устроил.

О, такое начало враз остудило мою горячую голову. Ничего хорошего оно не предвещало. А капитан, не замечая перемены в моем настроении, продолжал говорить. Он смотрел на меня, а рассказывал вроде как майору Душину:

— Начальник политотдела с самим Беляковым разговор имел. Благо, он одно время был прикомандирован к нашей армии. И представьте, Беляков поведал ему об аналогичном случае в 1942 году. На Большой земле получают шифровку из партизанского соединения, действовавшего в Белоруссии. Партизаны просят дать добро на операцию по захвату немецкого штаба, где по данным разведки хранится бортжурнал чкаловского самолета. Руководство партизанским движением тотчас связывается с Байдуковым и рассказывает ему о предстоящей акции.

— Срочно отмените операцию, — просит Байдуков. — Наш журнал находится в Москве. А партизаны, видимо, за подлинник приняли копию...

— Вот и ты, товарищ гвардии сержант, — улыбается капитан, — за подлинник принял копию.

— Не может быть, — в сердцах воскликнул я. — Спросите у майора, он сам видел.

— Не горячись, — остановил меня капитан. — Выслушай до конца. В 1939 году, когда готовилась международная выставка в Париже, издательство «Искусство» небольшим тиражом выпустило исключительно точно воспроизведенный литографическим способом бортовой журнал легендарного самолета АНТ-24. Очень удачно были подобраны цвета чернил, простого и химического карандашей, которыми члены экипажа заполняли графы журнала и делали заметки на полях. Почти весь тираж был отправлен в Париж и быстро распродан в киоске нашего павильона. Повторить издание для советских читателей помешала война. Этим и объясняется тот факт, что за рубежом копии можно встретить гораздо чаще, чем у нас.

Капитан замолчал, положил мне руку на плечо.

— Да ты, брат, не огорчайся, что оказался жертвой мистификации. Генерал велел поблагодарить тебя за находчивость, за искреннее стремление вернуть, так сказать, законному владельцу ценный документ. И еще...

Капитан расстегнул летный планшет, вынул из него ту самую копию журнала, которую нашел я в пылающем Берлине, и протянул мне.

— Генерал велел вернуть тебе... На память.

* * *

...Много лет прошло с того дня. И все эти годы бережно храню я свою находку. Вот она передо мною. Осторожно перелистываю страницы, заполненные строгими колоннами цифр, обозначающих высоту, скорость, температуру за бортом, обороты мотора, показания бензиномера — на протяжении всего полета. В графе «заметки в пути» — читаю строки, написанные рукой Белякова: «Чувствуем себя бодро. Немного подбалтывает. Впереди многоярусная облачность». Это на шестом часу полета. Потом через час: «Ура. Ясно кругом. Под нами темно-синее Баренцево море».

Но недолго светило в иллюминаторы самолета яркое полярное солнце. Машина снова попадает в слоис-

[illegible] Чкалов набирает высоту и вырывается из [illegible]ка. По этому поводу Беляков пишет в журнале: «Идем выше, черт его знает какого слоя облачности».

В [illegible] часов 37 минут началось обледенение самолета. Температура в кабине 6 градусов, за бортом —25. [illegible] сигналы радиомаяка с острова Рудольфа.

Когда по московскому времени стукнула полночь, самолет вырвался из сплошной облачности. «Полуночное солнце ударило в глаза — полярный день был в самом разгаре. Над полюсом пролетали 19 июня в 4 часа 15 минут утра. Байдуков пишет в журнале: «Видны льды полюса, белые с трещинами, разводьями и торосами. Стрелка компаса ходит кругом».

В 12 часов 30 минут радостная запись: «Внизу земля с озерами... Это Америка...». И тут же тревожный сигнал: «Лопнула водяная трубка. У Байдукова замерзли смотровые стекла».

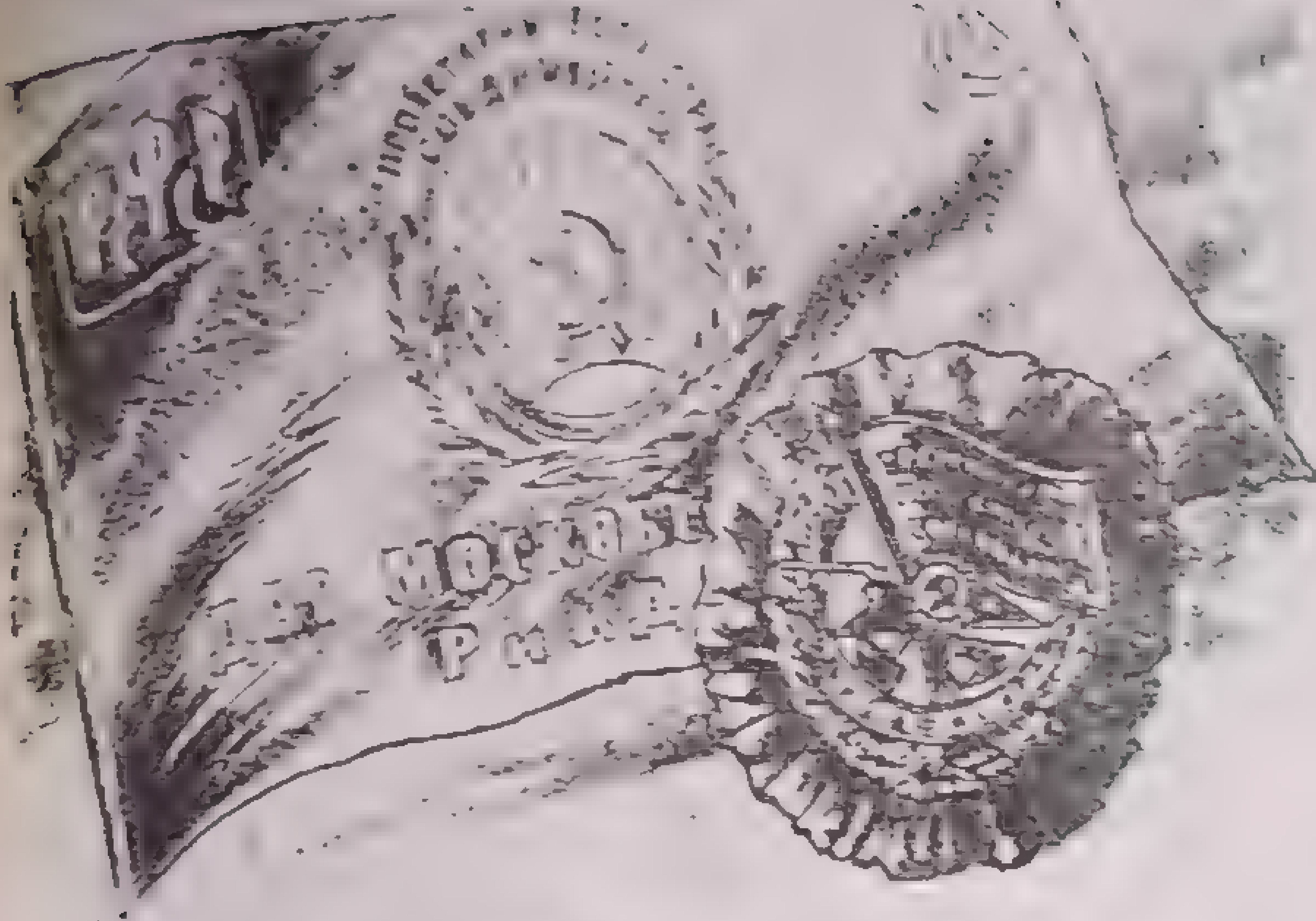
Еще через 10 часов полета: «Внизу горы. Высота 5 тысяч 300 метров. Кислород на исходе... Кончился кислород — надо снижаться с 6 до 4-х километров. Пробили облачность — вышли на море. Острова угрюмые, скалистые, со снегом. В полете уже двое суток...».

Утром 20 июня начал работать радиокомпас. «Сигналы принимаем со стороны Сан-Франциско. Бензину осталось на 7 с половиной часов полета. Плохо с водой». В половине третьего пополудни Беляков записывает: «Снижаемся под облака, вблизи Портланда». Однако метеоусловия, рваные облака почти до самой земли не позволили снизиться ниже 300 метров. Вновь набор высоты и продолжение движения на юг. Стрелка бензиномера приближается к красной отметке — это значит, кончается бензин. Нужно с воздуха выбирать место для посадки.

Завершает журнал короткая запись: «16 часов 20 минут посад в Ванкувере. Всего были в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горючего 7933 литра».

Вот так скупыми строками официального отчета описан беспримерный для того времени перелет.

...Подвиг Чкалова и его друзей-сподвижников не затушевало время. Мы и сейчас говорим о нем с тем же пафосом, как много лет назад. Чкалов — это юность нашей авиации, боевая, отчаянная. Без нее не было бы зрелости — побед в небе Великой Отечественной войны, побед в космосе.



РАССКАЗЫ О БЛЮХЕРЕ

От автора

В начале 60-х годов работал я собственным корреспондентом ТАСС по Читинской и Амурской областям. И случилось мне как-то вместе с ветераном гражданской войны Антоном Ануфриевичем Слесаревым побывать на пионерском сборе в одной из школ Благовещенска. В те дни страна отмечала сорокалетие разгрома белогвардейцев под Волочаевкой, а мой спутник лично участвовал в этой операции, с блеском проведенной выдающимся пролетарским полководцем Василием Константиновичем Блюхером.

Ребята внимательно выслушали воспоминания Слесарева, а когда он кончил свой рассказ, один шустрый пятиклассник задал ветерану вопрос, который, надо полагать, был на уме у всех ребят:

— А сами-то вы видели товарища Блюхера?

Ко всеобщему удовольствию, Антон Ануфриевич ответил:

— Вот как тебя сейчас.

И, помолчав, тихо добавил, обращаясь только ко мне:

— Веселый разговор у нас тогда произошел. Окон-

фузился я маленько перед главкомом... Молодой был, хоть и стреляный.

Из школы мы возвращались уже в сумерках. Шли по пустынной в зимнее время года набережной Амура и молчали. Каждый был занят своими мыслями. Я, например, придумывал, как бы поделикатнее выведать у Антона Ануфриевича, что это за «веселый разговор» состоялся у него с Блюхером. А Спесарев, оказывается, подыскивал повод, чтобы поведать мне об этом курьезном эпизоде. Так что не успел я заикнуться о своем желании, как любопытство мое было удовлетворено, и я получил сюжет для новеллы «Встреча у костра».

Рассказ опубликовала газета Забайкальского военного округа. А вскоре в редакцию пришло письмо от бывшего бойца Верхне-Уральского партизанского отряда И. И. Кобзева, который, прочитав мою новеллу, тоже изъявил охоту поведать автору о своем знакомстве с Блюхером. Потом я уже сам стал искать людей, близко знавших Василия Константиновича. И мне повезло познакомиться с Г. Шелестом, С. Богомягковым, В. Сивковым, З. Шелепень, П. Бронниковым, Л. Майоровой, Э. Паруметян, И. Рыжковым, В. Баранчук. Беседы с ними дали мне материал для создания цикла рассказов о Блюхере.

В основе каждой новеллы лежит подлинный случай, раскрывающий перед юным читателем ту или иную черточку характера В. К. Блюхера: его мудрую простоту, человечность, находчивость, справедливость, высокую порядочность. Но особенно мне нравилась веселость натуры Василия Константиновича, его способность не утрачивать чувство юмора даже в самые горькие минуты жизни. Оптимизм, вера в успех были первыми и самыми надежными его союзниками во всех начинаниях, независимо от того, касались ли они общегосударственных дел или каких-то частных случаев.

ЛЕКАРСТВО

Реку Уфу было решено форсировать возле деревни Красный Яр, где ее ширина не превышала и ста саженей. Передовой отряд Павлищева прямо с марша довольно ловко перебрался на правый берег и там закрепился. Но для переброски основных сил в десять тысяч штыков обойтись одним паромом и десятком утлых лодчонок было делом немыслимым. Тем более что вместе

с отрядом шел обоз — двести подвод только с ран-ными.

Этот громоздкий неповоротливый госпиталь на колесах, сковывавший маневренность партизанского соединения на протяжении всего похода, теперь во время переправы и вовсе превращался в якорь. Даже среди командиров уже находились такие, которые между собой поговаривали, что-де разумнее было бы ради спасения всего отряда оставить раненых в деревне на попечение местных крестьян. И про защиту Красного Креста, разумеется, вспомнили. Но главкому Блюхеру совет такой давать никто не решался.

Разговоры эти дошли до командующего стороной. Фельдшер Голубков, вызванный в штаб для доклада о наличии медикаментов и перевязочного материала, не стал растекаться мыслью по древу.

— Ничего этого, — говорит, — у меня за душой нет. Только доложу вам, раненые больше страдают не из-за отсутствия бинтов и йоду. Дошел слушок, будто не собираетесь вы переправлять их на ту сторону, бросаете на этом берегу... Паникуют раненые, товарищ главком.

Лицо Блюхера потемнело.

— Кто распустил такую нелепицу?

— Кто пустил, тот не сказался... Успокоить надо бы раненых-то, Василь Константинович.

— Пойдемте, — бросил главком фельдшеру и, подхватив шашку, стремительно вышел из штабной палатки.

Через пять минут они уже были на берегу реки, где в тени старых ветел сгрудились распряженные повозки с ранеными бойцами. На дне телег в трухлявом сене по двое лежали люди. Грязные, пропитавшиеся сукровицей тряпицы прикрывали их гноящиеся раны. Смрадный запах собрал сюда тучи остервеневших осенних мух, сопровождавших обоз от самого Богоявленского завода.

Появление главкома люди встретили настороженным молчанием. На его приветствие ответили невнятно. В сопровождении Голубкова прошел Блюхер между рядами повозок ближе к центру. Задержался возле одной из двуколок, в которой лежал знакомый мастеровой из Троицка Иван Поворницын.

— Тяжело, братцы, знаю, знаю. Да что делать-то. Много терпели, потерпите еще чуток. Двести верст до Кунгура. По сравнению с тем, что прошли, совсем пустяк. По ровной степи — это нам четыре дня.

— А как в Кунгуре белые?

— Белые, говоришь? — прищурив глаз, переспросил Блюхер и достал из-за голенища сапога газету. — А вот тут они сами пишут, что их наступление на Кунгур приостановлено регулярными частями Красной Армии... Регулярными! Понятно?.. Полагаю, что генералы на себя напраслину возводить не будут. Если пишут «приостановлено», значит наверняка всыпали им наши.

— Костянтиныч? — услышал Блюхер подле себя слабый голос.

Повернулся к говорившему. Обросший рыжей щетиной пожилой мужик манил его рукой к своей повозке.

— Не обижайся, коль спрошу у тебя... И ответь всем нам по совести, как на духу — за правду не осудим... Слышали мы, что собираешься ты оставить обозы, без нас налегке идти дальше?

Глаза Блюхера сверкнули гневом. Он выпрямился и крикнул, чтобы было слышно на самых дальних повозках:

— Товарищи, не верьте слухам. Их пустил враг, чтобы посеять среди нас раздор и панику. Не было, нет и не будет такого, чтобы красные бойцы бросали своих раненых братьев!..

— Ты погодь, Василь Костянтиныч, не шуми зазря, — снова заговорил рыжий мужик. — На войне все может статься... Так что ежели пересилят вас беляки, прикажи полоснуть из пулеметов по нашему табору: уж лучше от своей пули смерть принять, нежели от поганой казацкой шашки... Дай ты нам в этом свое большевистское слово, за ради бога.

— Нет! — выкрикнул главком. — Слова такого я вам не дам. Скорее всем отрядом ляжем тут, чем оставим вас на поругание озверевшей казаре... Сегодня начнем строить мост. За два дня сделаем и раненых переправим первыми.

— Прожить бы эти два дня, — вздохнул сосед рыжего.

— А ты заставь себя, — сказал Блюхер.

— Это как же?

— Да очень просто — не о смерти думай, а о жизни. Убедить себя нужно, что не помрешь — вот и весь разговор. Меня, к примеру, на германской один мудрейший человек научил. Ему и жизнью обязан.

— Расскажи, Василь Константинович, — попросил молоденький белобрысый боец с перевязанной крест-накрест грудью.

— Расскажи, — поддержали парня еще несколько голосов.

У Блюхера каждая минута на счету. Нужно позарез к Томину в Троицкий отряд: там горячо. Второй день непрерывно атакуют партизан отборные части полковника Моисеева... И к Павлищеву на тот берег надо: прислал тревожное донесение «Противник бьет во фланг, пытается прижать к реке... Опасаюсь за исход боя...» Видно, придется послать туда сотню красных казаков, чтобы обошла она противника с тыла и куснула его как следует... А всего нужнее сейчас Блюхеру съездить к мужикам Красного Яра сторговаться насчет хозяйственных построек. Совет командиров порешил купить у крестьян все амбары, сараи, заборы, овины, разобрать их на бревна и пустить на строительство моста.

— Расскажите, — скорее догадался по движению губ, нежели услышал главком шепот тяжело раненного бородатого казака, того самого, который после митинга на Белорецком заводе пришел в штаб с листовкой, сочиненной Блюхером, и попросился в отряд.

Блюхер смотрел на этих полуживых, изнемогающих от страданий людей, ждущих от него каких-то необыкновенных колдовских слов, которые разом бы сняли и боль и страх, подали надежду, укрепили дух. Не было таких слов у главкома. Но зная, как благотворны в такие моменты шутка, веселый рассказ, Василий Константинович забирается на козлы фельдшерского тарантаса и начинает безо всяких предисловий:

— Значит, подобрала меня в воронке какая-то добрая душа. Дежурный по армейскому госпиталю ругается: «Зачем мертвяков тащите, живым места нет». А санитарам что? Кругом марш, и в подвал меня, к покойничкам. Спасибо, на дороге перехватил их профессор Пивованский. Заметил он на моей гимнастерке два георгиевских креста и медаль «За храбрость».

— Жалко, — говорит, — такого к праотцам отправлять.

Послушал меня через трубочку, обрадовался.

— Сердце в порядке, несмотря на громадную потерю крови. Если при таком сердце не выходим мы человека, грош цена всей нашей полевой хирургии. Кладите-ка его на операционный стол!

Конечно, сам я этого ничего не слышал: в беспамятстве был. Сестра милосердия потом рассказывала. Три часа возился со мной профессор, восемь осколков

вытащил из моего грешного тела... А в сознание я пришел знаете где? В покойницкой. После операции уложили меня чин чином на койку в палату тяжелых. А утром перед обходом врачей два санитара из команды выздоравливающих проходят по палатам и умерших на ночь уносят в мертвецкую. Это уж так заведено в госпитале. Подходят к моей кровати, окликают, закатывают веко и решают: готов. На носилки меня и в подвал. А там холодище: дело-то в январе. Очнулся я. Думаю, куда же это меня занесло. Помню, что за языком пошел к австриякам, а попал... Если на тот свет, то как неверующий в бога должен я быть в аду, где, как известно, жара несусветная. А тут холод собачий. Выходит, не в аду я... Для рая тоже обстановочка неподходящая: серые стены в подтеках, решетки на окнах и опять же холод.

И вдруг слышу за дверью гулкие шаги. Много шагов. Соображаю — не архангелы это, те босиком ходят. А у этих копыта с подковами, вон как цокают по каменному полу. Не иначе — черти. И честно говорю вам, обрадовался. Думаю, уволокут в ад, там хоть согреюсь... Заходят четверо в белом. Один из них сразу ко мне, схватил за руку, говорит остальным:

— Так и есть — живой! Несите наверх.

Снова уложили меня на койку. Пивованский велел написать на карточке, чтобы без его ведома не трогали раненого. И карточку эту прицепили к спинке кровати на самом видном месте. Я уже к тому времени в себя пришел окончательно. Только говорить не мог и не шевелился.

И вот на следующее утро чую — свежая смена санитаров шарит по палате. К моей койке приближается. «Ну уж теперь-то, думаю, шалишь. Поостерегутся солдатики зачислять меня самовольно в покойники». А они, подлецы, и читать-то карточку не стали. Завернули мне веко, перекрестились и ладят возле койки носилки. Хочу сказать им: «Разуйте глаза, душегубы! Живой я, живой!» А язык не повинуется.

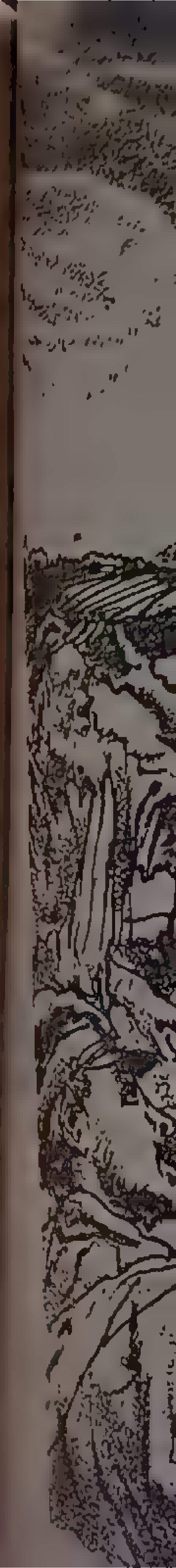
Сковырнули меня с койки, принесли в подвал, советуются, куда валить. Один предлагает:

— Да прямо на стол его. Сразу обмоем и обрядим.

Второй говорит:

— Раз так, пойду на кухню, ведро кипятку принесу.

«Эх, думаю, вот уж теперь-то прощайся, Василий, с жизнью». Австрийцы тебя железом не добили, так свои кипятком дошпарят».





И опять слышу за дверью торопливые шаги. Избав-ление идет! Врывается профессор и на санитаров:

— Вы что же, щучьи дети, мои распоряжения не выполняете? Завтра же обоих в маршевую роту определю.

Опять водворили меня в палату, обложили грелками. Пивованский подсел на краешек кровати, в руках у него фляжка. Налил в мензурку чего-то темного:

— Ну-ка, согрейся.

Выпил я — сразу тепло по жилам побежало.

— Ну и славно, — смеется профессор. — Медицина свое дело сделала: вырвала тебя из рук усердных санитаров. Теперь все будет зависеть от тебя самого. Настрой себя на веселый лад и радуйся, что жив. О смерти думать не смей, не то как раз накличешь ее, костлявую. Санитары, брат, у нас народ расторопный, поскольку за снаряжение каждого покойничка четыре копейки от казны получают. Так что они свой интерес не упустят. И ты не упускай: лежи и повторяй про себя как молитву: «Мои раны заживают, мои раны не болят...» Ну а дальше сам что-нибудь придумай в рифму, вроде «Скоро буду я здоровый русский доблестный солдат».

Три недели лежал я в госпитале, покуда не увезли меня в тыл. И все три недели твердил: «Мои раны заживают, мои раны не болят. Нас австрийцы уважают — укокошить норовят».

— И помогло? — осторожно спросил рыжий мужик.

— А как же. Гляди сам: не хромаю, не кособочу, рука не дрожит, щека не дергается. А чуть к непогоде заноют раны, я закрою глаза и ну повторять: «Мои раны заживают, мои раны не болят, докторов не забывают, всех, как есть, благодарят».

— Ну а нам-то дозволяется эту молитву пошептать?

— Обязательно дозволяется, для того и рассказал. Только надо прежде придумать две последние строчки, чтобы к текущему моменту подходило... Ну-ка попробуем. Мои раны заживают, мои раны не болят...

— Нас враги не испужают, никогда не победят! — выкрикнул белобрысый парень и торжествующе глянул в глаза главкому.

— Ловко, черт, — восхищенно заговорили на повозках, — ай да Пашка — рваная рубашка, гляди-кось, придумал!

— Очень даже подходяще, — одобрил Блюхер Пашкину выдумку. — Будем считать, что до конца похода лекарством вы теперь обеспечены.

РАПСОДИЯ ЛИСТА

Паша Силкин проснулся, разбуженный монотонной музыкой, доносившейся то ли из коридора, то ли из соседней комнаты. Бывший «Гранд отель» купчихи Горшковой, где квартировал начальствующий состав Пермского гарнизона, меньше всего походил теперь на увеселительное заведение, которым он был год назад. Ни песен хмельной клиентуры, ни визга платных девиц — только изредка грохот солдатских сапог по коридору. И вдруг — музыка!

«Странно, — подумал Павел. — Кому бы это в такую рань?»

Силкин вылез из-под одеяла, сунул босые ноги в растоптанные сапоги и прислушался.

«Постой, постой, — сообразил он, — так ведь это из номера, где Блюхер живет. Что за чертовщина!.. Верно, стоит там какая-то черная махина со свечами по бокам. Пи... пиониной, кажись, называется. Только никогда раньше Василий не говорил, что он обучен играть на той хреновине. Ну беда».

Стараясь не шуметь, Павел подобрался к стенке и приложил ухо к замызганным шпалерам. Звуки усилились — теперь уже не было сомнений: источник музыки находился в комнате Василия Константиновича Блюхера, недавно назначенного комендантом Пермского укрепленного района.

— Очень странно, — пробормотал Силкин и задумался.

«А может, это верно, что болтают про Блюхера, будто вовсе он не пролетарий, а помещичий сынок. На пианинах бренчать простой мужик не сумеет: это тебе не балалайка. Да и музыка-то, по всему видать, не нашенская...»

Одним словом, полезли в голову молодого энергичного чекиста Силкина мысли одна страшнее другой. Чтобы разом покончить со своими сомнениями, накинул он на плечи шинель и, не обращая внимания на то, что брюки остались висеть на спинке кровати, двинул в соседний номер.

На его стук из-за двери послышался бодрый голос Василия Константиновича:

— Толкайте сильнее: не заперто.

Силкин вошел — так оно и есть! Блюхер сидел за пианино и обеими руками перебирал пружинящие клавиши.

Минуту оба молча глядели друг на друга. Наконец, Василий Константинович, продолжая играть, коротко спросил:

— Нравится?

Силкин помялся и вместо ответа спросил сам:

— Это где ж ты, Василь Константиныч, обучился такому делу?

— А ты разве не знаешь, что я уроки брал у самого господина Листа? Слышал про такого?

— Контра какая-нибудь, — выдавил из себя Силкин.

— Темнота, — с укоризной покачал головой Блюхер.— Это ж на весь мир известнейший композитор. Вот я сейчас как раз его произведение играю, именуемое «Венгерская рапсодия».

— Да уж я чую, — съязвил Павел, — буржуйская музыка.

— Эх, Паша, не выспался ты, видать, нынче... Какая же это к черту буржуйская? Самая что ни на есть классическая. Садись и слушай, сейчас повеселее пойдет.

И правда, только уселся Силкин в кресло, как понеслись из инструмента игривые забористые звуки. Но от этого на душе Паши не стало легче. Наоборот, загрустил он, глядя исподлобья на лихо пляшущие по клавишам пальцы Василия Константиновича.

А уж тот-то старался показать себя! И чего только не выделывал руками: то вправо их бросит, то влево, то крестом перекинет. До того раздурачился, что вдруг заявляет Силкину:

— А хочешь, Паша, я тебе одними ногами играть буду?

И не дожидаясь ответа, поднял Блюхер руки вверх, сапогами на педали попеременно нажимает, словно на велосипеде катит. А музыка из пианино, как ни в чем не бывало, льется себе. Ну, не чудо ли?! Паша даже рот открыл от изумления: этого и в цирках не случалось ему видывать. А Блюхер сидит за пианино, в такт музыке ладошами прихлопывает, посмеивается.

— Самому Листу, — кричит, — таким манером не сыграть. Только я да мадам Горшкова можем без рук.

— Какая Горшкова? — опять насторожился Силкин.

— Та, что раньше владела этим «Гранд отелем». Хит-

…рющая была, бестия! Но я ее секрет раскусил и тайну [illegible] понял.

— Постой, постой, — оборвал Блюхера Павел — [illegible] …ем тут мадам... И вообще, кончай эту музыку. Уж [illegible] хочешь меня потешить, так сыграй нашу. Ну хотя бы «Вниз по матушке, по Волге». Умеешь?

Блюхер перестал нажимать на педали. Музыка замедлила темп и вскорости смолкла совсем. Василий Константинович беспомощно развел руками.

— Нет, Паша, эту, извини, не могу.

— Ну а «Смело, товарищи, в ногу».

— Тем более. Мадам Горшкова такие песни страсть как не любила.

— Да чего ты все на купчиху-то киваешь? — не на шутку завелся Силкин.

— А то и киваю, что кабы не ее хитрость, не пустил бы и я сегодня тебе пыль в глаза. Смотри сюда...

Блюхер откинул переднюю панель инструмента и показал Силкину длинный металлический валик, утыканный иголками и соединенный системой шестеренок с педалями.

— Ну понял секрет? — расхохотался Блюхер. — Обыкновенная шарманка это! А желаешь по-благородному, то пианола... Жмешь на педали, валик вращается и вот этими иголками струны зацепляет. А клавиши — для видимости. Садись на мое место, попробуй, и ты рапсодию за милую душу сыграешь. А хочешь, «Лунную сонату» Бетховена — только валик переменим.

— Нужна мне твоя соната, — буркнул раздосадованный Силкин. Но чтобы не показать вид, будто он попал впросак с этой чертовой шарманкой, уверенно добавил. — Я, брат, сразу раскусил, что музычка-то того... с душком.

— Нет, Паша, — задумчиво покачал головой Блюхер, — в отношении музыки не соврал я тебе. Рапсодия — что надо. Великая вещь!.. Конечно, ежели за инструментом сидит не шарманщик, вроде меня, а настоящий музыкант... Погоди, мы еще с тобой услышим ее, а может, и сами сыграем... Ты на чем предпочитаешь музицировать, на пианино или на каком-нибудь этаком... буржуазном фаготе?.. Ну-ну, не сердись... Не мы, так дети наши обязательно овладеют этими инструментами. И Листа, и Бетховена будут играть. Да как играть! Помяни мое слово, Силкин.

ВСТРЕЧА У КОСТРА

Бойцы сидели вокруг костра под насыпью железнодорожного полотна. Грелись и ждали чаю. На длинных шестах, перекинутых над костром, висели рядками прокопченные котелки с растопленным снегом. Каждый держал над огнем заостренную хворостинку с наколотой на конец пайкой хлеба.

Умаялись ребята за день смертельно, восстанавливая попорченную японцами колею железной дороги. Жаркое пламя костра окончательно разморило бойцов, так что никто не заметил, как со стороны разъезда, где сосредотачивались главные силы Народно-революционной армии, подъехали два всадника.

— Здравствуйте, — сказал один из них, человек в пушистой заячьей шапке и длинных якутских унтах.

От неожиданности все повскакали с мест, схватились за винтовки. Но добрая улыбка незнакомца сразу развеяла тревогу.

— Фу ты, пес, напугал, — выругался отделенный командир Григорий Жуков, — шатаются всякие...

— Ужинаете? — продолжал человек.

— Не дрова рубим, — недовольно откликнулся кто-то.

Но такой недружелюбный ответ нисколько не смутил человека в заячьей шапке. Он легко спрыгнул с коня, отдал поводья своему напарнику и шагнул к огню. Это был невысокий мужчина лет тридцати с небольшим. Короткая меховая тужурка со множеством карманов плотно облегала его кряжистое тело. Из-под мохнатой шапки весело смотрели лукавые глаза, а небольшие ершистые усики придавали лицу выражение добродушия и простоты.

— А чайком побалуете? — опять спросил незнакомец.

— Давай кружку, снега не жалко. А уж насчет сахару — извини: сами с угольком вприкуску чаи гоняем.

К костру подошел и второй всадник. Черная густая борода закрывала ворот его отороченного барашком полушубка. Он передал бойцам две жестяные кружки и, ни слова не говоря, вернулся к лошадям.

— Куда же ты, борода? Садись, места всем хватит, — миролюбиво позвал человека отделенный.

Несколько минут пили молча кипяток, обжигаясь и звучно причмокивая. Первым заговорил Васька Бурашников, здоровенный детина. В отряде он был давно, но особого рвения к службе не проявлял. Его привычка



молиться перед каждым боем закрепила за ним в отряде ироническое прозвище «Безбожник».

— И чего это взбрело на ум новому начальству ремонтировать путь. Себе на голову строим. Завтра двинут беляки сюда свой бронепоезд — и крышка нам.

Григорий зло сверкнул глазами на Безбожника.

— Смотрю я на тебя, паря, и думаю: сил в тебе на добрую лошадь, а храбрости и на куренка не хватит.

Васька не стал возражать, он только ткнул свой кусок хлеба поглубже в угли и заметил, ни к кому не обращаясь:

— Нешто с этаким харчом Волочаевку возьмешь? Казаки-то, они галеты американские жрут с шоколадом, И приварок каждый день.

— А ты знаешь? — ехидно прищурясь, спросил отделенный.

— Пленные сказывали.

— Чего же ты к белякам не идешь, аль живот на ихнем шоколаде боишься нажить?

Вокруг рассмеялись. Громче всех человек в заячьей шапке.

— Мне шоколадов не надо, — обиделся Васька Бурашников, — лишь бы хлеба вволю давали.

С лица незнакомца сбежала веселая улыбка. Он обвел лица бойцов серьезным взглядом и сказал медленно:

— В Москве, товарищи, совсем с хлебом худо, пухнут люди от голода, а держатся молодцами. Да еще фронту от себя крохи урывают.

— Ну, мил человек, Москва — это теперь другая страна, к нам никакого касательства, — опять влез в разговор Васька-безбожник, но его сразу оборвали несколько возмущенных голосов.

— А чья ж она по-твоему, немецкая аль австрийская?

— Зачем немецкая... Русская, да не наша, не «девеэровская».

— «Девеэровская», — передразнил отделенный и, повернувшись к незнакомцу, горестно посетовал. — И что мне с ним делать прикажете? Совсем темный человек, никакого понятия в политике... Да пойми ты, дурья голова, что там Ленин... Ленин — это тебе понятно?

— Ленин, конечно, понятно, — ухмыльнулся Васька. — Да нечто он там?

— А где же ему быть? Вон спроси хоть у свежего человека.

— Ленин в Москве, — ответил незнакомец, — и он ждет добрых вестей с Востока. Для него что Тула, что Питер, что Волочаевка — одна плоть Советской России. Да и для нас тоже. Верно, товарищи? Так что мы теперь в ответе перед Россией за Дальний Восток. Выбьем японца, белякам головы скрутим, вот тогда можно будет и вздохнуть посвободнее... И галеты будут, да не американские, а свои. И шоколад, и приварок. Все будет... А пока хлеба привезли вам, рыбы и сахару по осьмушке.

— А ты кто ж такой будешь? — наконец, догадался отделенный спросить у незнакомца. — Вроде каптенармуса что ль?

— Да как вам сказать...

— Может, ты, уважаемый, шпион? — поинтересовался Безбожник.

— Неужто похож? — рассмеялся незнакомец.

— А кто их знает, — равнодушно пожал плечами Васька. — Кабы у них форма единая была, как у швейцаров, к примеру.

— Я главком новый, Блюхер, — просто сказал человек в заячьей шапке.

Вокруг костра произошло замешательство. Кто-то поперхнулся кипятком и закашлялся. Обескураженный командир отделения вытянулся перед главкомом и заговорил, путая слова:

— Чего же ты... чего же вы молчали раньше? А мы тут по-свойски... Уж извините, только пожалуйте мандаты ваши, потому как, сами понимаете, время военное — нельзя без этого.

Василий Константинович вынул из полевой сумки какую-то бумагу и протянул отделенному. Тот, нагнувшись к огню, долго вертел ее перед глазами, почтительно ощупывал, потом вернул со словами:

— Простите, товарищ главком, люди мы неграмотные, но по всем статьям чувствуется, что бумага верная.

Блюхер встал, одернул тужурку и приложил ладонь к заячьей шапке:

— Спасибо за чай, товарищи. А теперь до свидания. Завтра в Волочаевке встретимся, так?

— Обязательно в Волочаевке! — дружно грянули бойцы.

Блюхер и ординарец вскочили на лошадей и повернули назад к разъезду. Долго молчали бойцы, глядя им вслед. Наконец, отделенный сказал убежденно:

— С этим победим!

А немного погодя уже распекал Ваську-безбожника:

— Кабы руки у тебя были такие длинные, как язык... Нашел шпиона!.. Погоди, война кончится, сам возьмусь за твое образование.

ЖИЛ В ЧИТЕ УЧИТЕЛЬ

В начале века жил в Чите неприметный учитель гимназии Лежнин. Звали его Петром Дмитриевичем. Свой основной предмет — географию — знал превосходно, но увы, из-за необыкновенной застенчивости преподавательского дарования был лишен начисто. Уроки вел архискучно, запинался, косноязычил и, вообще, порой нес такую заумь, что не только гимназисты, видавшие виды инспекторы не всегда улавливали суть его пространных объяснений.

Долговязая, узкогрудая фигура Лежнина, согнутая наподобие вопросительного знака, подсказала гимназерам выбор для учителя географии довольно оригинального прозвища — Васисдас. Причем, так называли его за глаза и учащиеся, и преподаватели, и весь штат обслуги гимназии, не имевшей понятия о том, что первоосновой этого мудреного прозвища является немецкое словосочетание[1].

Лежнин был бездетен, друзей не имел, знакомств избегал. Все свободное от уроков время проводил он в читальном зале городской библиотеки, обложившись грудами журналов, газет, различных справочников и официальных ведомостей. Только на время летних вакаций Лежнин исчезал из города. Видывали его и на Шерловой горе, и в Сретенске, и близ Газимуровского завода...

Сослуживцы знали, что их коллега лет десять, а, может быть, и все двадцать, пишет какую-то книгу. А какую именно, никого такая подробность не интересовала. Почему-то все считали, что этот «не от мира сего человек» ничего толкового создать не в состоянии. Тем более сейчас, в годину затянувшейся гражданской войны, когда жизненные устремления добропорядочного интеллигента должны были замыкаться на заботах о хлебе насущном.

Однако, вопреки житейской логике, книгу Лежнин написал. И озаглавил ее «Богатства Приамурья и Забайкалья». В ней были собраны и обобщены все самые по-

[1] Was ist das? — что это такое?

[illegible] сведения об исследованиях, открытиях и [illegible] геологов, ботаников, экономистов, путешественников и прочих ученых мужей, посвятивших себя изучению восточных окраин России. Теперь эту книгу нужно было издать.

В январе 1922 года в Чите функционировала только одна типография, с горем пополам печатавшая газету и листовки с распоряжениями правительства Дальневосточной республики. Не хватало ни бумаги, ни красок, ни шрифтов, ни наборщиков...

По своей наивности толкнулся туда Лежнин. С ним, естественно, и разговаривать не стали: ясное дело — блаженный. А, может быть, враг? Полистали рукопись, обратили внимание на множество всяких цифр, географических названий, схем и карт. На всякий случай о необычном визитере дали знать в соответствующее учреждение.

Ночью в дом, где квартировал Петр Дмитриевич с женой и тещей, приехал товарищ в кожаной куртке — бывший учащийся Читинской гимназии, исключенный некогда за распространение большевистских прокламаций. Самого «Васисдаса» он не арестовал, только взял с него честное слово о невыезде из города. А рукопись книги увез с собой.

Дня через два Петра Дмитриевича вызвали в разведотдел. Пришел он туда с баулом, в который оторопевшая жена сунула мыло, полотенце, что-то из съестного и меховые рукавицы. Бывший ученик Лежнина, в кабинет которого провели перепуганного учителя географии, прежде всего извинился за недоразумение. Рукопись он прочитал — никакой крамолы в ней не содержится. Наоборот, написана весьма полезная книга. К сожалению, напечатать ее в данный момент вряд ли представится возможность. Почему? Разве не ясно? Оглянитесь вокруг — время-то какое! Белогвардейщина не добита, города кишат контрреволюционной сволочью, японцы только и ждут предлога, чтобы начать военные действия... Конечно, оснований для паники нет.

— Но есть только один человек, который может вам помочь, — неожиданно заявил молодой чекист в кожаной куртке. — Это военный министр, он же главнокомандующий вооруженными силами Дальневосточной республики товарищ Блюхер.

— Позвольте, — пролепетал изумленный географ. — Какое отношение может иметь военный начальник к предмету моей заботы?

— Никакого — это верно. Но вы все-таки сходите к нему... Вот бумага, перо, чернила — составьте прямо сейчас что-нибудь вроде проспекта... Изложите на двух страничках содержание книги и свою просьбу о содействии. Мы их приложим к рукописи, и с вашего позволения я сегодня же передам все это Василию Константиновичу.

На прием к военному министру Лежнина пригласили официальным письмом, которое вручил ему лично посыльный — этакий бравый народармеец. Ровно в двенадцать часов тридцать минут пополудни, как и было указано в письме, дежурный пригласил учителя географии пройти из приемной в кабинет главкома. Из-за стола навстречу Петру Дмитриевичу вышел молодой, наголо остриженный мужчина в военной форме без знаков различия. Он протянул Лежнину руку и, как говорится, начал с места в карьер:

— Извините, буду очень краток. Я ознакомился с вашим трудом и в восторге от приобретенных знаний. Такая книга нужна именно сейчас. Командир и боец, рабочий и крестьянин прочитает ее и поймет, хозяином каких сокровищ стал он теперь. Поймет и с еще большей отвагой и яростью будет бить тех, кто пытается отнять у него эти богатства.

Провожая Лежнина до дверей кабинета, Блюхер несколько раз повторил:

— Книгу вашу обязательно напечатаем... Обязательно. Подключим «Сибдальвнешторг», «Дальцентросоюз», наизнанку вывернем все склады, а бумагу найдем. Деньги выделим и издадим таким тиражом, чтобы на всех хватило: читайте, гордитесь своим краем, защищайте его. Вот все, что имел сообщить вам.

Лежнин с виноватой улыбкой принялся было объяснять Блюхеру, что книга — уж если подходить к ней строго — далеко не совершенна: где-то сыровата, где-то суховата, грешит пробелами в справочном аппарате из-за недостатка свежих данных... Автор все это прекрасно понимает и считает похвалу министра чрезвычайно приятной, но не вполне заслуженной.

Поток благодарственных слов растроганного счастливца прервал возникший в дверях кабинета дежурный:

— Василий Константинович, вас к прямому проводу... Москва.

Книга вышла в свет 14 марта 1922 года. В тот же день Лежнин принес один из авторских экземпляров главко-

Блюхер прочитал автограф, поблагодарил автора и достал из стола точно такую же книжицу. Перехватив недоуменный взгляд Лежнина, объяснил:

— Это мне вчера из типографии доставили так называемый «сигнал»... А ведь недурно получилось, а? И бумага вполне приличная, и печатники не ударили в грязь лицом. Четыреста шестьдесят страниц большого формата! Такую книгу и подарить, я думаю, не совестно.

Сделав небольшую паузу, Василий Константинович вдруг предложил:

— Давайте-ка пошлем ее Владимиру Ильичу Ленину.

Лежнин нервно хрустнул пальцами, изменившимся от волнения голосом спросил, четко разделяя слова:

— Вы полагаете, это удобно?

— Не только удобно, — заверил Блюхер, — просто необходимо. Как политику, как экономисту, наконец, как председателю совнаркома.

— Ну если вы так считаете, я с превеликим удовольствием.

Лежнин взял со стола ручку и старательно вывел на уголке титульного листа: «Вождю мирового пролетариата, товарищу Ульянову-Ленину...»

ПЕРЕПРАВА

Рассказ генерал-лейтенанта в отставке Ивана Николаевича Рожкова

В начале тридцатых годов служил я в Забайкалье командиром инженерной роты. Носил в петлице три кубика и считался в дивизии первейшим специалистом по наведению понтонных мостов. А славе этой — может быть, и не вполне заслуженной — был я обязан командующему нашей Особой Дальневосточной Краснознаменной армии Василию Константиновичу Блюхеру.

Однажды во время армейских маневров получил я приказ навести переправу через реку Онон возле станции Оловянной. Все было сделано в срок, честь по чести. Первым на другой берег переправлялся артиллерийский полк. Его командир, энергичный черноволосый богатырь, принял мой рапорт о готовности моста и тотчас дал команду батареям начинать переправу.

Стоим мы вместе на берегу, наблюдаем за прохождением орудий. Все, вроде бы, идет нормально, без шума и суеты. По времени укладываемся в нормы.

И вдруг командир полка приказывает своим артиллеристам сократить дистанцию между орудиями.

— Быстрее закончим переброску, — объясняет мне.

Я возражаю. Говорю, что нельзя нарушать инструкцию: дистанция на мосту должна быть не меньше двадцати метров.

— Ерунда это, — усмехается командир полка, — досужие выдумки штабных службистов.

Я отвечаю:

— Никак не ерунда, товарищ комполка. — Течение реки здесь быстрое: при перегрузе пантонов якоря могут соскользнуть с каменистого дна. А это, сами понимаете, чем грозит...

— Ох уж эти мне уставники, — недовольно цедит артиллерист сквозь зубы. — Надо к чертовой матери ломать эти нормы. В гражданскую не по наставлениям воевали, да победили ученых генералов.

И командует своим зычным богатырским голосом:

— Сократить дистанцию! Ехать впритык орудие к орудию!

Тогда я, ни слова не говоря, срываюсь с места, взбегаю на головной понтон и преграждаю собой дорогу разгоряченным лошадям, везущим пушку.

— Что ты делаешь? — кричит мне своим громоподобным басом комполка. — Под трибунал захотел, мальчишка!

— Не имею права допустить нарушение, — рапортую по форме. — Как начальник переправы я отвечаю за целость моста, за здоровье людей и боеспособность техники.

Командир артполка подскакивает ко мне, лицо у него багровое от гнева, рука на кобуре нагана.

— А я, — кричит, — как старший по должности приказываю тебе сейчас же отойти в сторону, пока не отправил я тебя в Онон проверять крепость якорей.

И тут оба мы слышим чей-то грозный окрик с берега:

— Почему заминка?

Я-то сразу и не сообразил, что это командующий. Оставив автомобиль на высоком берегу, Блюхер бегом спускался к мосту. Командир артполка, а за ним и я поспешили навстречу начальству.

— Товарищ командарм, восемнадцатый артиллерийский полк переправляется...

— Не вижу, чтобы кто-то переправлялся, — прерыва-



ет Блюхер доклад артиллериста. — Почему, спрашиваю, заминка?

Командир полка кивает на меня:

— Да вот... ротный препятствует... Встал на мосту, как столб.

— Что такое? — Блюхер подходит вплотную ко мне. — Фамилия?

— Командир инженерной роты Рыжков, — выпаливаю я и принимаюсь объяснять причину своего поступка.

— Так, — произносит командарм, не дослушав до конца моих пространных объяснений. — Наставление по военно-инженерному делу при вас?

— При мне, — говорю я и достаю из полевой сумки серенькую книжонку.

Блюхер берет ее у меня и передает командиру артиллерийского полка.

— На время переправы передайте командование своему заместителю, — спокойно говорит Василий Константинович, — а сами садитесь на бережок и проработайте седьмую главу. Когда выучите, перескажите ее содержание командиру инженерной роты. Если ответите без ошибок, разрешаю вновь взять командование полком на себя... А вам, товарищ Рыжков, объявляю благодарность. За твердость характера.

КИПЯТОК

Во время военно-тактических учений в роту лейтенанта Козлова, получившую приказ занять оборону у подножья сопки, неожиданно приехал командующий — маршал Блюхер. Подразделение это было сформировано из новобранцев, а командиром назначен недавний выпускник военного училища. Ребята только-только прошли курс молодого бойца, и нынешнее учение было для них своеобразным экзаменом на солдатскую зрелость.

Прервав на полуслове рапорт оробевшего лейтенанта, Блюхер приложил палец к губам и сказал:

— Меня здесь нет.

У ротного в недоумении вытянулась физиономия.

— Считайте меня посторонним лицом, а лучше — неодушевленным предметом и продолжайте выполнять свои обязанности.

С этими словами Василий Константинович круто повернулся и стал подниматься по склону сопки. Отойдя

метров на триста, Блюхер присел на камень и разложил перед собой планшет с картой.

Присутствие командующего, конечно, подействовало на молодых бойцов. Примолкли разговоры, зато усилился скрежет саперных лопаток о каменистый грунт. За сорок минут вырыть в нем индивидуальный окоп — задача не из легких. Да если при этом прожигает разгоряченные работой тела полуденное июльское солнце!

В усердном лихорадочном труде прошло минут двадцать. И вдруг сверху зычная команда:

— Отставить!.. Лейтенант, собрать роту у крайней справа ячейки.

Когда красноармейцы повзводно выстроились на фланге своего участка обороны, маршал взял у одного из бойцов саперную лопатку, попробовал пальцем острие.

— А теперь — смотреть, слушать, запоминать!

Блюхер ковырнул лопатой землю — железо лязгнуло о камни.

— Слышите?.. И вражий лазутчик слышит. А ночью так и искры видит. Следовательно, лопаткой нужно действовать так, чтобы жало ее мимо камней путь выбирало. Одной рукой жми вниз, другой — покачивай черенок вот таким манером... Каменюка большой попадет, не торопись выворачивать его — обкапывай вокруг...

Не прерывая объяснений, Блюхер принялся ловко орудовать лопаткой. Вскоре на земле обозначились четкие контуры ячейки. Мало-помалу лопатка уходила в землю все глубже и глубже. Командующий рыл, ни на секунду не прерываясь, не теряя взятого вначале темпа. Он даже ни разу не стряхнул струившийся по лицу пот. Когда ячейка была отрыта полностью, маршал выпрямился и взглянул на часы.

— Тридцать шесть минут, — сказал он недовольно.— Для новобранца — хорошо, для ветерана — плохо... Лейтенант, продолжайте окапывание!

Красноармейцы разбежались по своим ячейкам, а маршал расстегнул ворот гимнастерки и принялся вытирать носовым платком вспотевшие лицо и шею. Заметив на боку Козлова притороченную к ремню фляжку, попросил:

— Дайте-ка глотнуть.

Ротный побледнел. Рука его машинально дернулась к фляге и замерла на полпути.

— Да она... теплая, товарищ маршал,— пролепетал он, заикаясь.

— Ничего-ничего.

— Я вам сейчас похолоднее достану, разрешите?

— Не надо: и теплая сойдет.

Блюхер сам отстегнул от ремня Козлова флягу, отвернул пробку и сделал глоток.

Лейтенант стоял ни жив, ни мертв: ведь во фляге-то был чистый спирт! А в период учений даже пиво употреблять строго запрещалось. Козлов сам ни за что не решился бы взять с собой это проклятое зелье, да товарищи по полку застыдили:

— Неужели свой день рождения будешь отмечать без вина? Как хочешь, а по двадцать граммов по[illegible], иначе и поздравлять тебя не придем.

Не понял шутки молодой лейтенант — и вот результат... Что-то теперь будет? Роту у него, конечно, отберут. Могут и в рядовые разжаловать... А вдруг под трибунал?..

— Вы что же меня обманываете, лейтенант? — разделяя слова, сказал Блюхер. — Какая же это теплая вода?.. Кипяток!.. Так и обвариться недолго... А впрочем...

Маршал протянул флягу оторопевшему ротному:

— Ну-ка полейте мне: уж умоюсь заодно.

Блюхер разделся по пояс и подставил сложенные лодочкой ладони.

— Лейте, лейте...

Умывшись, Блюхер энергично потряс кистями рук.

— Смотрите-ка, — с деланным удивлением произнес, — и полотенца не потребовалось.

Козлов готов был провалиться сквозь землю. А Блюхер неторопливо натянул гимнастерку, застегнул ремни портупеи, тронул расческой ершик волос. Пристально глядя в глаза лейтенанта, сказал:

— Лучше всего утоляет жажду глоток чуть подсоленой воды. Пусть даже теплой...

И прибавил, усмехнувшись:

— Но уж никак не кипяток.

* * *

Моя встреча с инженером-полковником в отставке Иваном Петровичем Козловым произошла в пригороде Свердловска. Мы сидели на террасе его садового домика и пили чай, настоянный на смородиновом листе. Пили по-старинному, вприкуску, из блюдец, шумно сду-

[illegible] Арх[illegible] [illegible]

[illegible] у меня даже [illegible]

[illegible] поднёс блюдце ко рту... Кипяток...

[illegible] То, что рассказал нам Иван Петро[illegible] скорее походило на анекдот, нежели на действительный случай.

— И он даже в лице не изменился, когда хлебнул то? — допытывался я.

— Представьте себе, — развел руками рассказчик. — Я уж грешным делом подумал, что спирт мне всучили разбавленный. После пригубил остаток — огонь!..

— И никакого дисциплинарного взыскания за этим не последовало?

— Представьте себе... Но после того конфуза дал я себе зарок на всю жизнь: ни при каких обстоятельствах не брать в рот спиртного.

— И ни разу его не нарушили?

— Представьте себе...

МАННА НЕБЕСНАЯ

На первом съезде колхозников-ударников Дальнего Востока в качестве делегата с решающим голосом принимал участие и командарм первого ранга Блюхер. Не удивляйтесь: к организации колхозов в Приморье, Приамурье и Забайкалье он имел самое прямое отношение. Это же ему принадлежит идея создать из уволенных в запас красноармейцев и моряков молодежные сельскохозяйственные артели в пограничных районах Дальнего Востока.

В то время край этот был малолюден, а земли имел богатые. Им бы пшеницу родить, да некому бросить зерна в благодатный чернозем. Среди воинов-дальневосточников было немало крестьянских парней из областей Европейского нечерноземья. Дивились они простору, жалели, что без пользы уходят в стебли буйных трав драгоценные соки земли.

— Эх, сюда бы да с плугом!

Так за чем же дело-то стало, ребята? Оставайтесь после армейской службы, стройте села, поднимайте целину, растите хлеб. Обживайте «нашенскую» землю!

В Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии в начале тридцатых годов был создан специальный «колхозный корпус». Его сформировали из воинов, слу-

[illegible] по последнему году и изъявивших желание после демобилизации остаться крестьянствовать на дальневосточной земле. Василий Константинович ревностно следил за деятельностью этого экспериментального воинского соединения, где наряду с боевой подготовкой воинов обучали основам агрономии, вырабатывали навыки коллективного хозяйствования.

Ах, как нужна была новому делу техника! Лошаденками-то несподручно поднимать вековечную целину, корчевать тайгу. И Блюхер добился от наркома обороны разрешения передавать в новые колхозы трактора, отслужившие срок в качестве артиллерийских тягачей. Очень хотелось командарму создать не просто колхозы, а образцовые, показательные, механизированные хозяйства, чтобы привлечь сюда работящих переселенцев с западных областей Союза.

Так что не гостем почетным, а самым непосредственным организатором колхозного строительства был на крестьянском съезде командующий вооруженными силами Дальнего Востока.

После его выступления со съездовской трибуны в президиум пришло несколько записок примерно такого содержания: не может ли товарищ Блюхер свозить делегатов в какую-нибудь воинскую часть. Желательно авиационную, поскольку очень хочется крестьянам вблизи посмотреть на аэропланы. Говорят, что они большие и тяжелые. А вот — надо же!—летают по воздуху, словно пушинки.

— Ну что ж, — ответил Василий Константинович. — Завтра по распорядку съезда у нас заседание до половины дня. Значит, ровно в тринадцать ноль-ноль все желающие могут сесть в автомобили, которые будут ждать нас у подъезда, и отправиться на аэродром. Только вот как быть с обедом?

Блюхер скользнул хитрым взглядом по лицам делегатов и махнул рукой:

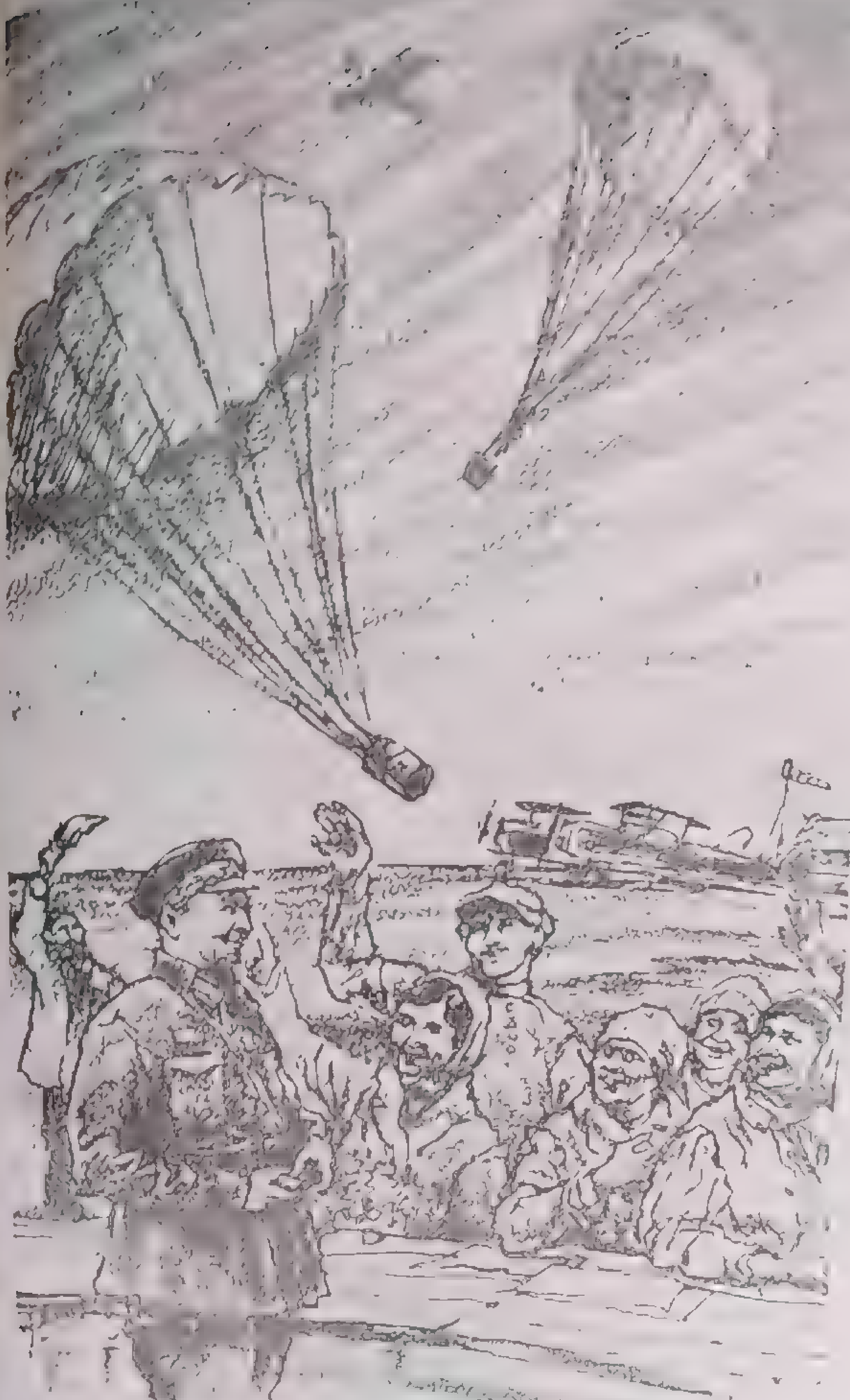
— Что-нибудь придумаем. Согласны?

Зал раскатился аплодисментами.

...В крытые брезентом кузова воинских грузовиков рассаживались шумно и весело. А как тронулись, взяли петь. Да так до самого места выгрузки и не закрывали ртов: все песни перепели.

На аэродроме делегатов съезда уже ждали. Вдоль линейки готовности выстроились самолеты. И перед каждым — экипажи: летчик, стрелок, техник, моторист.





Шествие двигалось медленно, задерживаясь у каждой машины. Блюхер сам давал пояснения. Наиболее любопытные забирались на плоскости, заглядывали в кабины, трогали ручки управления. Сегодня это все разрешалось.

Миновав шеренгу аэропланов, вышли прямо к летному полю. Здесь, возле самой кромки, в два ряда были вкопаны в землю длинные столы и лавки из свежего теса.

— А теперь взгляните вверх, вон туда,— и Блюхер показал рукой на позолоченный лучами солнца силуэт вынырнувшего из облачка самолета.— Так выглядят эти машины в полете.

Несколько минут все молча наблюдали за приближающимся аэропланом. А он то камнем падал вниз, то взмывал свечой к зениту и, перевернувшись через крыло, снова продолжал полет.

— Однако...— качали головами пожилые колхозники.

— А не пообедать ли нам, товарищи? — неожиданно предложил Блюхер.

На его предложение (а оно было очень даже кстати) никто не откликнулся, потому что как раз в это мгновение от самолета отделились две черные точки, над которыми тотчас вспыхнули яркие зонты.

— Парашютисты! — восторженно закричали колхозники.— К нам летят... К нам...

Но чем ближе к земле приближались пестрые купола, тем с большим недоумением взирали на них делегаты. Где же парашютисты-то? Вместо них на стропах раскачивались какие-то не то тюки, не то ящики. Разом примолкли разговоры, теперь уже все смотрели не в небо, а на Блюхера, ждали, что скажет командир по этому поводу. А он помалкивал и улыбался.

Опустились парашюты в сотне метров от наблюдателей. Василий Константинович первым побежал к месту приземления, увлекая за собой остальных. Свалившиеся с неба загадочные предметы были очень похожи на обыкновенные кадушки. Кто-то из недавних красноармейцев объяснил:

— То ж контейнеры.

И хотя смысла этого чудного слова никто не понял, к кадушкам подошли без особой опаски. Вроде бы между прочим поинтересовались:

— Не жахнет?

Блюхер рассмеялся. Делегаты откликнулись неуве-

[illegible]ными смешками. Василий Константинович [illegible] одну из кадушек «на попа», [illegible] рошина, откинул крышку и запустил [illegible] внутрь. Из контейнера раздался глухой [illegible]

— Делай, как я! — шутливо скомандовал Блюхер, и достал из контейнера... алюминиевую миску и [illegible]

В других «кадушках» оказались [illegible] вой кашей...

Сколько смеху, сколько шуток было за обеденным столом по поводу этой самой [illegible]. Дышущую сытным духом кашу ели с необыкновенным аппетитом. Иные до трех раз просили добавки, убеждая, что с собой взять не во что. Наперебой хвалили поваров, хвалили летчиков, хвалили и вдохновителя всей этой веселой затеи командарма Блюхера. А он только посмеивался в усы и за обе щеки уплетал солдатскую кашу.

ПРАВНУК УНТЕРА ЛАВРЕНТИЯ

Командующий Особой Дальневосточной Краснознаменной армией, маршал Василий Константинович Блюхер, его заместитель, командарм второго ранга Иван Федорович Федько и начальник штаба, комдив Степан Николаевич Богомягков поездом возвращались из Владивостока в Хабаровск. Все трое разместились в одном купе, хотя им полагался отдельный вагон. Но накануне Блюхер с согласия остальных отдал его в распоряжение пионеров, собравшихся на экскурсию в Комсомольск-на-Амуре.

Не успел поезд отойти от перрона, как в дверях купе появился проводник вагона — стройный чернобровый парень. Он звонко щелкнул каблуками и доложил с явно украинским выговором:

— Товарищ маршал Советского Союза, готов чай. Разрешите нести?

Блюхер улыбнулся, подмигнул своим спутникам, дескать, сразу видно — военная косточка. Осведомился у проводника:

— Давно из армии?

— Два месяца шесть дней, — отрапортовал парень.

— Ишь ты... Кто до увольнения в запас сутки считает, а ты, значит, после. Родом-то из каких краев?

— С-пид Полтавы, товарищ маршал. Оттуда и призывался.

— Что ж домой не поехал?

— Та был дома аж три недели. Потом опять на Дальний Восток потянуло... Пока проводником [illegible] получу место в общежитии, на машиниста [illegible]

— Дело, — одобрил Блюхер. — Фамилия-то как твоя?

Парень немного смутился, как-то виновато улыбнулся:

— Фамилия у меня, товарищ маршал, смешная: Задависвечка.

— Как? — не понял Василий Константинович.

— Задависвечка! — отчеканил проводник.

— И чего ж в ней смешного? — пожал плечами Федько. — У меня в Таврии был ординарец Степан Вырвизишка. Так тот, наоборот, гордился своей фамилией, утверждал, будто в Запорожской Сечи такие прозвище сам кошевой давал казаку как награду за воинские заслуги.

— А помните фамилию начдива тридцать восьмой стрелковой? — спросил Василий Константинович и сам же ответил. — Забейворота.

— У нас на селе, — осмелел проводник, — еще интереснее была фамилия. И сказать даже совестно: чистое ругательство.

— Ну и не говори, — посоветовал Блюхер.

— Есть, не говорить, товарищ маршал, — вытянулся проводник. — Разрешите нести чай?

— Повремени минут двадцать, пока мы разместимся и освоимся, — сказал Федько.

— Есть, повременить, товарищ командарм второго ранга!

Как только из купе исчез проводник, в разговор вступил Богомягков.

— Василий Константинович, — начал он, лукаво взглянув в лицо маршала. — Давно я хотел спросить у вас... Теперь, кажется, самый подходящий момент. Откуда эта прусская юнкерская фамилия в вашем крестьянском роду?

Вопрос нисколько не удивил Блюхера: видно, не впервой приходилось маршалу отвечать на него.

— За правду рассказа поручиться не могу, — начал Василий Константинович, — но вот послушайте, какое предание хранится в нашем ярославском племени. Мои

[illegible] Лаврентий Медведев, [illegible] из [illegible] семьи барщинной угодил по жребию в [illegible] даты. Верой и правдой отслужил он царю и отечеству двадцать пять лет. И годы эти для России были очень неспокойными. Довелось ему с Суворовым турок воевать, с Кутузовым французов бить. До самого Парижа дошел, в младшие унтер-офицеры был произведен, за храбрость Георгиевского креста удостоился и двух медалей — нашей да прусской. Вот и приходит такой кавалер в родимое село и предстает перед очами своего барина, какого-то там отставного корнета. По причине слабого здоровья корнет этот и пороха не нюхал в Отечественную войну, но слыл в округе за непререкаемого знатока военного искусства.

— Ай да Лаврушка! — восхищается барин бравым видом своего крепостного. — Ай да герой! Ну-ка поведай нам, за что получил сии регалии?

Лаврентий все по порядку принялся рассказывать. Дошел до прусской медали.

— А это, — говорит, — от их величества короля тамошнего Фридриха-Вильгельма за баталию при граде Лейпциге.

— Выходит, ты и в битве народов участвовал, — удивляется барин. — И фельдмаршала Блюхера видел?

— Никак нет, — простодушно признается прадед. — Такого фельдмаршала не только что не видел, но и не слыхивал. Фельдмаршала князя Кутузова Михаил Ларионыча знаю, а этого... виноват, не довелось.

— Ну, братец, не ожидал, — разочарованно разводит руками барин. — Медаль за Лейпцигскую битву имеешь, а о прусском фельдмаршале, одержавшем сию викторию, не ведаешь... Конфузия! Ну я помогу тебе запомнить его фамилию. И тебе, и детям, и внукам твоим.

Отставной корнет приказывает дворовым людям, издалека наблюдавшим всю эту картину, подойти ближе и торжественно провозглашает:

— Произвожу сего унтер-офицера Лаврентия Медведева в Блюхеры и повелеваю отныне величать его только так!

С тех давних пор и прозываются потомки моего прадеда знатной немецкой фамилией...

Василий Константинович смотрит на слушателей в ожидании дальнейших распросов. Но те деликатно молчат. Они несколько озадачены столь подробным рас-

[illegible] ершала. Обычно он немногословен. Военная жизнь выработала в нем привычку говорить коротко не только на службе — всюду и обо всем. Но иногда его «прорывало». Это случалось либо в минуты хорошего душевного настроя (как сейчас, например), либо в моменты, когда нужно было словом взломать лед недоверия, отчуждения, безразличия, когда слово приобретало значение и силу оружия.

— А вообще, фамилией я своей доволен, — продолжает Блюхер. — Не раз выручала она меня. Не раз и подводила, и в смешное положение ставила. Все было — тем и хороша!.. Помню, обучал нас, деревенских ребятишек, грамоте приходский батюшка отец Евстигней. Назовет, бывало, меня по фамилии, а сам крестится и бурчит под нос себе «господи, прости мя». А когда в Питере пришел я наниматься на франко-русский завод, управляющий, услышав фамилию Блюхер, отвел меня в сторону и грозно спрашивает:

— Бош?

Я не понял, подумал, что специальностью моей интересуется.

— Нет, — говорю, — в слесари хочу, учеником.

А он мне:

— Совсем дурак.

И приказывает мастеру на черные работы меня определить. Потом-то я узнал, что бошами французы немцев обзывают. Это мне в четырнадцатом году на фронте ротный командир разобъяснил. Не взлюбил он меня за фамилию.

— Ты, — говорит, — не иначе как немцами подослан в наш 19-й Костромской полк. Только одного не пойму: почему они тебе документы на Иванова или Петрова не сфабриковали.

Я посчитал, шутит он, шуткой и отвечаю:

— Не додумались, видать, ваше благородие.

— Нет, другая тут причина, — понимающе грозит кому-то пальцем ротный. — Хитрецы!.. Ну да и мы не лыком шиты.

Уж не знаю, кого имел в виду этот тип, однако под всякими благовидными предлогами совал меня на самые опасные участки, где было больше шансов встретиться с немецкой шрапнелью. Только его первого пуля зацепила. Правда, и мне, несмотря на мою знатную немецкую фамилию, боши крепко влепили — чудом жив остался...

— А в гражданскую, помнишь, какой слух враги распустили о начдиве Блюхере? — спросил Федько у Богомягкова.

— Еще бы, — ответил тот. — Австрийский офицер, продавшийся красным...

Василий Константинович согласно кивнул головой:

— И ведь очевидцы нашлись, которые будто бы встречали меня в штабе чехословацкого корпуса. Колчак солидный куш обещал тому, кто изловит Блюхера. За живого — тридцать тысяч рублей, за мертвого — любую половину.

— Недешево, — усмехнулся Федько. — За мою голову всего десять тысяч обещали.

— Ах подлецы, — возмутился Блюхер, но тут же, подмигнув Богомягкову — тем самым приглашая его принять участие в розыгрыше — заговорил изменившимся тоном. — А, впрочем, может, они и правы фамилия у тебя откровенно плебейская. Не то что моя. Так что десять тысяч за Федько — это даже слишком много.

В игру включился и Богомягков.

— За Медведева, — авторитетно изрек он, — тридцать тысяч тоже бы не назначили...

— Разумеется, — подтвердил Василий Константинович. — Тысяча ему красная цена. А тот же мужик с фамилией Блюхер — в тридцать раз дороже. Никакой логики.

— Почему же? Логика есть, — возразил Федько. — И очень даже основательная. Вот был у меня приятель цирковой борец Клод Бреннер. Это только на афишах он так именовался. А вообще-то фамилия его была Цибуля Василь. Спрашиваю у него: зачем фамилию себе чужую прицепил? Он отвечает: не сам я, антрепренер меня перекрестил. Говорит, хоть ты и борешься гарно, смотреть на твою хохляцкую харю за гроши никто не придет. А иностранец Бреннер, да еще в черной полумаске, — это тайна, это приманка, это деньги.

— Может, и Сун Ятсен [1] вас к себе военным советником пригласил за фамилию иностранную? — со смехом обратился к Блюхеру Богомягков.

— Факт! — расхохотался Федько.

---

[1] В 1924 году Советский Союз по просьбе Национально-революционного правительства Южного Китая направил в его распоряжение группу военных советников во главе с В. К. Блюхером

— Ну, это вы бросьте, — запротестовал Блюхер. — Я же туда ехал под псевдонимом: во всех документах Галиным именовался. Думал, хоть за границей похожу с русской фамилией. Как бы не так! Иностранные корреспонденты — а их в Кантоне было аккредитовано человек тридцать — враз меня в Галена превратили. С ударением на букву «е». А кто-то из их газетной братии возьми да и пусти утку, будто Гален сей — отставной генерал, бывший французский генштабист. Я, конечно, помалкиваю — пусть пофантазируют. Только одно обидно: опять, значит, меня в иностранцы записали. Долго они господину Галену косточки перемывали, пока не узнал меня в лицо один шустрый корреспондент японской газеты. Оказывается, в 1921 году, когда я был военным министром Дальневосточной республики, он брал у меня интервью в Дайрене, где вели мы переговоры с Японией. И с новой силой поднялась в газетах свистопляска. Одни вспомнили старую версию об австрийском офицере, другие пошли дальше: породнили меня с фельдмаршалом Блюхером. Да не как моего прадеда, а по-настоящему, кровными узами.

— Удивительное дело, — с досадой стукнул себя кулаком по колену Федько, — ну, никак не хотят эти господа оторваться от своих классовых предрассудков, правде в глаза заглянуть. Затвердили себе: если добрый военачальник, значит, непременно из князей или баронов, с голубой кровью. Вспомнили бы хоть Разина или Пугача.

— Ну, этих крестьянских вождей там могут и не знать, — заметил Богомягков. — Поближе примеры есть. Хотя бы адмирал Макаров.

— Да чего Макаров, — горячился Федько, — а Фрунзе, Буденный, Ворошилов, Лазо, Чапаев...

— Вострецов, Котовский, Томин, Дыбенко, — подхватил Василий Константинович.

— Пархоменко, Жлоба, Ковтюх, — продолжил Иван Федорович.

— Фабрициус, Уборевич, Хаханьян... — строчил скороговоркой Блюхер.

— Корк, Ока Городовиков, — размеренно ухал Федько.

— Братья Каширины, Лапин, Азин.

— Серышев, Тухачевский...

— Э, погоди, погоди, — Блюхер схватил за руку расходившегося зама. — Я, конечно, не против Тухачевского, только он из дворян.

Несколько секунд длится пауза. Воспользовавшись ею, начальник штаба спрашивает:

— А вы знаете, кого упустили из виду и обидели невниманием?

Глаза командующего и его заместителя упираются в Степана Николаевича Богомягкова.

— Ну-ну, напомни.

— Эх вы, — укоризненно качает головой начштаба.— Да Блюхера и Федько,

Содержание

ВЕНОК МОЕГО ДЕТСТВА

РАССКАЗЫ О БЛЮХЕРЕ

Виталий Васильевич Пашин

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Для среднего и старшего школьного возраста

Редактор Н. П. Большухина
Художественный редактор Ю. А. Пичугин
Художник И. С. Смирнов
Технический редактор В. М. Панфилова
Корректор В. М. Собчак

ИБ № 942

Сдано в набор 10.12.86. Подписано в печать 26.02.87. АК03047. Формат 84X108 1/32. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура журн. рубленая. Печать высокая. Усл. кр.-отт. 6,72. Усл. п. л. 5,04. Уч.-изд. л. 5,3. Тираж 100 000. Заказ 114. Цена 15 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, 152901, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.

15 коп.





ЯРОСЛАВЛЬ
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987